



**О. Д. ФОРШ**

## **Михайловский замок**

<Фрагменты>

### *Глава первая*

В 1798 году Наполеон мимоходом, направляясь в Египет, захватил остров Мальту. Несмотря на боевые запасы артиллерии, магистр Ордена сдался без всякого сопротивления и скрылся в Триест. Достоинство великого магистра предложено было русскому императору Павлу Первому<sup>1</sup>. Мечтая о воскрешении древнего рыцарства, Павел не только принял предложение кавалеров Ордена, но дал приказ: «Повелеваем опубликовать о сем во всей империи нашей и новый титул внести в прочие титулы наши». Тотчас дана была аудиенция в Зимнем дворце депутации капитула Ордена, которая торжественно поднесла императору корону и регалии великого магистра. На Новый год Павел явился перед изумленными придворными в короне, супервесте и великолепной мантии и объявил, что впервые будут сожжены в Павловске в канун Иванова дня знаменитые костры Мальтийского ордена.

Преувеличенный восторг, с которым русский император отнесся к протекторату над Мальтийским орденом, вызвал в Европе насмешку, и с лукавой иронией записал аббат Жоржель: «Русский император, не принадлежащий к католической церкви, но исповедующий схизму Фотия, сделался гроссмейстером Ордена религиозного и военного, имеющего первым своим начальником папу. Император Павел поразил Европу»,

Однако, кроме этой, забавной аббату, стороны дела, возникновение постоянных сношений с Мальтой было серьезным по своим последствиям расчетом Павла и продолжением умной политики Екатерины. Упрочив свое влияние на Мальте, Россия могла на Ближнем Востоке успешней бороться с Англией.

Накануне Иванова дня Павел ушел из дворца один в дальнюю прогулку. В конце липовой аллеи, на парадном плацу, уже сложены были в клетку и белели серебряной корой молодой березы девять костров; гирлянды из редких оранжерейных цветов и прочие украшения плаца поручены были молодому ученику придворного живописца Бренны<sup>2</sup> — Карлу Росси. Мать его была знаменитая прима-балерина, мадам Гертруда Росси, отчим — не менее знаменитый постановщик балетов Лепик, а настоящий отец его был неизвестен.

Император задумался, приближаясь в своей одинокой прогулке к любимой им Старой Сильвии. Было здесь безлюдно и не парадно. Под июньским солнцем особой свежестью пахли травы, еще не кошенные, блестящие после недавнего дождя. На этих вот лужайках, бывало, отроком, в сопровождении любимого воспитателя Порошина<sup>3</sup>, собирал он цветы и травы для гербария. Порошин, душой преданный, — был бы жив — охранял и сейчас...

Впрочем, к чему теперь охрана, если завтра ночью вспыхнут девять мальтийских костров? Иезуит патер Грубер<sup>4</sup>, которому разрешено в любой час дня и ночи входить в императорскую спальню, сказал сегодня особо торжественно:

— Едва запыхают девять костров во имя святого Иоанна, как охранительная стена, незримая глазу, будет воздвигнута вокруг вас, помазанника и духовного главы рыцарства всего мира.

Как всегда, в минуты, когда он верил всей душой в могущество охраняющих его сил, Павел вдруг освобождался от подозрений, страхи отступали от него, и он был счастлив тем простым счастьем, как в памятный день, когда царица-матушка подарила ему это село — Павловское<sup>5</sup>.

И, молодо оглянувшись вокруг голубыми глазами, прекрасными, когда не затемняло их безумие, отбросив докучные мысли, Павел с любопытствующим восхищением новичка, попавшего впервые в эти прелестные места, стал осматривать извилистые берега — веселой речки Славянки.

Двадцать лет тому назад Екатерина подарила ему эти земли, но полюбил их он много раньше. Сюда, в этот густой сосновый бор, когда здесь еще было всего два охотничьих домика, смешные Крик и Крак, спасался он, бывало, из Петербурга, оскорбляемый фаворитами.

...Все дальше шел Павел, любуясь цветущим своим парком. Вспоминал, как начинал разбивку его вдоль речки Славянки к старому шале и от него к мосту Крика. По модному английскому образцу

вели посадку кустов, искусно пользуясь красивыми склонами речки. Давно забытая детская радость охватила, когда узнал места самых первых наивных построек: вот хижина монаха, трельяж, там беседка на китайский манер, и другая подальше — подражание Пиранези<sup>6</sup> — построена в виде полуразрушенной башни-руины...

А какие были узорные цветники на многочисленных островках, какие шаловливые между островками каскады! Камерон<sup>7</sup> давал указания на устройство просек. И хотя все, что напоминало царство и вкусы матушки, было непереносимо и наполовину уже уничтожено, Павел сейчас воздавал должное Камерону, вызывая в памяти им одним созданную особую легкость, изящество и прелесть планировки.

Когда под именем князей Северных он с женой путешествовал по Европе, построен был большой дворец, начата колоннада Аполлона, храм Дианы, большой каскад, вольер и дворцовая баня. Всё заботы ее, матушки-царицы.

Пока сын отсутствовал, Европы ради строила напоказ, чтобы крепко держалась молва об ее материнской заботе. О каждом пустяке писала своим друзьям за границу, забрасывала их подарками, они же ее — хвалой. Всё для видимости... А скуповата была для истинных нужд семейных! Выписан был знаменитый Гонзаго<sup>8</sup> для росписи дворца, а приехал — платежей нет. В необходимом, в белье и платье нуждались. Зато сейчас его время, его право,

Едва мать умерла шестого ноября<sup>9</sup>, как уже двенадцатого император переименовал сельцо Павловское в город. И судорожно, с раздражением, стал по-своему переделывать парк: Славянку приказал запрудить, часть островов уничтожить...

Павел дошел до мыльни и Пиль-башни и присел на скамью.

Да, не тот теперь Павловск — подтянулся. А при матушке-то сколько фальшивого сентимента вызвал приказ его о прекращении нищенства? Правда, случился некий пересол — на цепь посадили одного инвалида... Так ведь не помер же он с того!

И с удовольствием Павел подумал о своих последних приказах директору парка: воспретить строжайше в парке свист, зряшные разговоры, непотребный хохот... не матушкин, чай, дом распутства. В городе Павловске пребывает он, самодержец, гроссмейстер Мальтийского ордена.

Впрочем, приличному веселью и он не препона: кавалькады, прогулки, завтраки в молочном домике, вечерний чай в шале. Но императору и отцу необходимо всегда знать, куда именно, надолго ли и зачем ушли от него его близкие. Придумал лотерею, чтобы прикрыть свою

тайную подозрительную настороженность: вынимали как бы шутя билетки, куда именно идти сегодня, он же записывал.

Прогулки, им одобренные, были: в зверинец, в охотничью будку, по пограничной просеке и назад, по аглицкой дороге и через Звезду — семь верст. Самая длинная прогулка.

Любил, чтобы приходили назад точно, по часам. Все концы были выверены. Дышал спокойно, когда знал, что никуда зайти не могут, что некогда им пошущукаться — только и дела, что прошагать туда и обратно.

Вдруг Павел налился кровью, побагровел, сильнее забилося сердце. Вспомнил, как недавно наткнулся на Александра, который записан был как ушедший на просеку. Александр с книжкой в руках сидел в беседке и в вытянутой руке держал большие карманные часы. На просеку он с прочими, видимо, не пошел, а сидел тут один и следил по часам, когда ему явиться к отцу.

Оттого что тогда сдержался и сына не обличил — тем тяжелее запомнил ему эту обиду.

Мысль о сыне повела в те места, которые с такой любовью украшала царица-матушка для любимца своего и — тайно мнила — наследника.

Павел двинулся к Александровской даче и с горечью думал:

«Неужто матушка, столь разумная и в многих государственных случаях справедливая, не понимала, что, минуя отца для преимущества сына, она сеет в сердце моем страшные семена?»

Вот она — Александрова дача — воплощение сказки императрицыной о «розе без шипов и царевиче Хлоре», написанной для любимого внука<sup>10</sup>.

Встали в памяти слова пиита:  
И отрок с самого начала,  
Когда рассудку мысль его внимала,  
Научится быть осторожным здесь...<sup>11</sup>

Дом на крутом берегу, а в долине театр с золотым верхом. Не длинная аллея, обсаженная цветами, ведущая к дому, неожиданно обрывается, и восхищенному взору предстают раздолья полей и синева дальних лесов.

Павел не мог удержаться от зависти к сыну, когда попадал в царство его счастливого детства. Сколько внимания и нежности шло к внуку от той, которая обидно пренебрегала им, родным сыном. Таков ли был бы он сейчас, выпади ему в детстве жребий Александров?

«И отрок с самого начала... научится быть осторожным здесь». Да, осторожности Александр научился!

И вдруг неудержимо и больно пронзила сознание одна мысль — так огненная змейка, вновь возникшая на пожарище, которое, сдавалось, потушено, вырастает вмиг в злое пламя: Екатерина вовлекла Александра и Константина в постройку дворца. Ребята, забавляясь, клали фундамент. А что, если заложили туда и такое, что может взорваться? И оно взорвется?

Долго в оцепенении стоял, прислонясь к статуе Амура. В смертной тоске глядел, как Амур, на веки вечные обреченный натягивать лук свой, медленно розовел, словно оживал под лучами летнего солнца. Стоял неживой, пока совсем простая, здоровая мысль не пришла сама на выручку: да ведь дворец-то уже много лет тому назад строили, ребятишками сыновья были... Вздор это! Вздор и безумие! Сам дьявол взбудоражит вдруг подозрениями, спутает сроки, навевает бессмыслицу...

Павел пугливо оглянулся: не видал ли кто, не угадал ли его постыдные мысли? Вдруг посветлел и весело крикнул:

— Полкашка, сюда!

Стремглав летел к нему через кусты и тропинки большой лохматый пес. В собачьем восторге, что донюхался, где его хозяин, Полкан неистово прыгал, норовя лизнуть прямо в губы.

Ребячливо смеясь, Павел сам обнимал собаку, усаживал рядом с собой на скамейку. Полкан с сознанием исполненного долга высунул красный язык и спустил пышный хвост со скамьи.

Павел рассмеялся, вдруг что-то вспомнив, и сказал Полкану, доставая из кармана вчетверо сложенную бумажку:

— А ты, братец Полкан, — знаменитость. Адмиралы про тебя пишут. Вот послушай-ка...

И он стал читать собаке вслух то, что давеча дострочно списали из-записок гостившего в Павловске адмирала Шишкова<sup>12</sup>:

«Забавы наши в Павловске однообразны и скучны».

— Ну и поскучай, коли хочешь быть при дворе. Так, Полкашка?

«После обеда степенно, мерными шагами прогуливаемся по саду. После шести шествуем на беседу весьма утомительную. Государь с великими князьями садится рядом, мы подпираем стены, как безмолвные истуканы. Государь ведет с детьми сухие разговоры, мы же не смеем ни говорить между собой, ни вставать со стульев. На длинном шлейфе императрицы лежит всегда простая дворная собака».

— Это же ты, Полкашка! — мазнул Павел собаку листом по морде. — И простая и дворная, а мне сего адмирала милей.

«Неизвестно, откуда явилась сия собака. Но она не отстаёт от императора...»

— И не отставай, Полкан, охраняй меня!

«И скоро со всеми прочими сия собака стала предерзкая, государь может один ее гладить, и его она не кусает. Однажды она залаяла во время вахт-парада. Государь рассердился и крикнул: “Уберите ее от меня!” Но она не далась никому на руки и просила прощенья, повалившись на спину, четыре лапы вверх, и махала хвостом, — он простил ее».

— А ведь и точно, было дело, — смеялся Павел. — Ну и дурак же этот Шишков, такое записывать! Как с ровней, с тобой, Полкашка, считается. Если бы римский безумец Калигула не произвел своего коня в сенаторы, я бы тебя, Полкан, пожаловал в адмиралы.

«Сия собака любит театр. Во время действия сидит в партере на задних ногах и смотрит на актеров, будто понимает их речи и действия».

— Донос на тебя, — веселился Павел. — Ай да адмирал Шишков! Завтра, на зависть ему, посажу тебя с собой рядом в ложу.

Павел спрятал бумажку в карман, решив еще посмеяться вечером вместе с Аннушкой Гагариной, и, веселый, пошел в сопровождении Полкана через мост, украшенный трофеями, к храму Цереры<sup>13</sup>, рядом с которым высокой струей бил ключ, посвященный Марии Федоровне<sup>14</sup>.

Император и пес напились студеной воды и, поднявшись на высокий холм, вошли в храм «Розы без шипов».

У храма был крутой купол на семи колоннах. Посреди алтарь, на нем ваза. В вазе прекрасная роза с гладким блестящим стеблем без единого шипа. На плафоне торжественная фреска: Петр с высоты небес смотрит на блаженствующую Россию — дородную женщину в сарафане. Она же, окруженная наукой и промышленностью, опирается на щит с изображением Фелицы<sup>15</sup>. Внизу орел когтями разламывает рога луны.

Павел вспомнил, что граф Литта<sup>16</sup> вручил ему статут Ордена, требующий неукоснительного выполнения всех правил, от чего крепла сила охраняющего действия ритуальных костров, которые зажгут завтра на парадном плацу<sup>17</sup>. Он вынул записную книжку, посмотрел в который раз параграфы и сделанные к ним собственные отметки. Между прочим была и такая:

«Справиться у Винцента Бренны, кто истинный отец ученика Карла Росси? Если не дворянин, обладавший грамотой, восходящей к десяти предкам, личное присутствие одного Росси на сожжении костров допустить нельзя».

Кроме Росси, записаны были и другие.

Вдруг Полкан с веселым лаем кинулся со всех ног к небольшой открытой беседке, и Павел увидал там рисующим в альбоме того самого юношу, о котором только что думал.

Карл Росси так был охвачен своей работой, что, погладив мимоходом Полкана, даже не оглянулся на императора, хотя не мог не знать, что лохматый пес неотлучен при царе.

Павел большими шагами направился к беседке, он готов был разгневаться. Мария Федоровна, супруга, не нахвалится изяществом рисунков этого Росси, только по ним и режет свою слоновую кость, а наемники донесли, что в городе болтают — Михайловский-де замок воздвигается дарованием сего юного Карла, его учитель Бренна только проекты подписывает...

Тем более столь доблестному юнцу не след манкировать<sup>18</sup> своему императору. Всем существом обязан он чувствовать его приближение.

Подойдя вплотную, Павел хлопнул Росси по спине. Тот, испуганный, вскочил:

— Ваше величество?..

— Хвалю, сударь, хвалю, — мгновенно смягчившись, скороговоркой проговорил Павел, — у вас чистый взгляд, чистый!

Росси недоумевающе смотрел на императора широко расставленными глазами, еще весь поглощенный своей работой.

— Дышать забываете, сударь, когда рисуете, — смеялся Павел, — не то что салютовать вовремя своему императору. А ну, покажите.

— Эскизы украшений для завтрашнего празднества, — протянул Росси альбом.

Он был очень молод, прекрасной внешности. Соразмерность частей его стройного тела давала впечатление особого изящества. Волосы вились, усиливая приветливость лица, глаза, светлые, с ярко отмеченным зрачком, доверчиво, не страшась, смотрели в глаза императора.

— Ваши рисунки отменного качества, сударь. А известно ли вам символическое содержание завтрашнего таинства костров?

Павлу отрадно было думать, что никакой задней, скрываемой мысли у этого юноши нет, он полон одним беззаветным увлечением своим искусством. И горько мелькнуло: «Вот такого б мне сына... такому б я верил».

Полуобняв Росси, облизанного мохнатым Полканом, Павел пошел с ним обратно к Большому дворцу. Дорогой он давал Карлу последние указания, как надлежит распределить гирлянды и венки, какую постепенность требует сожжение костров и фейерверка. Подойдя к плацу, где сейчас производилось учение, Павел нахмурился, заложил руки за спину, что всегда у него было началом гнева. Вдруг он оттолкнул Полкана и один проскочил далеко вперед, бросив Росси. Ему показалось, что сын Александр, командовавший марширующими гатчинцами, потушил мгновенную усмешку, увидя отца с молодым архитектором. К тому же и гарнизон шагал не по артикулу. Хотя это были любимые гатчинцы, под командою Александра они с неряшеством, неточно печатали шаг.

Вмиг рассердившись на сына, на гатчинцев и невероятным усилием воли сдержав этот гнев, Павел круто повернулся к оторопевшему Росси и неприятным, повизгивающим голосом прокричал ему:

— О вашем происхождении, сударь, не имею чести знать в точности! Матушка ваша — прима-балерина, вотчим — Лепик, ну-с, а, собственно, родной ваш батюшка кто будет?

Павел попал в больное место. Росси покраснел до слез, однако, не теряя достоинства, отчетливо вымолвил:

— Я не знаю сам, ваше величество, кто мой родной отец.

Опять юноша стал приятен.

— Бы-ва-ет... — с мягкой насмешкой протянул Павел, вспомнив, как сам немало страдал от пересудов досужих придворных, что он не сын Петра Третьего, а всего-навсего Сергея Салтыкова.

— Учителю вашему, Бренне, передайте, что прожекты я ваши одобрил. А точные сведения об отце — добыть от матери и представить мне наутро.

Павел, стуча каблуками, держа за ошейник Полкана, зашагал быстро к дворцу, а Карл Росси, потрясенный происшедшим, избегая ненужных встреч, пошел темными аллеями на почтовый двор.

<...>

#### *Глава четвертая*

Двадцать девятого июня, на Петра и Павла, как обычно, была блестящая иллюминация в Павловске — день ангела императора.

Укрытые цветущими кустами придворные певцы и певицы распевали стихи Нелединского-Мелецкого<sup>19</sup>:

Сторона, как мать родная,  
О возлюбленно Павловско...



И еще другой стишок, полный детской преданной любви, исторгавший из очей чувствительной Марии Федоровны слезы и умилявший самого государя:

Наш надёжа государь,  
Православный белый царь,  
Нас скрывает в свою пазушку:  
Отирайте, мои детушки,  
Вы с очей горячи слезушки,  
Подбивайтесь, мои милушки,  
Под мои ли теплы крылушки.

Защитительные костры Ивановой ночи<sup>20</sup> всё еще оказывали на Павла свое благодетельное влияние. Непоколебимой пребывала в нем уверенность в особой охране и личной безопасности. Патер Грубер, ежедневно вручая искусно им приготовленный «иезуитский шоколад», проникновенно напоминал, сопровождая слова ласковым внушающим взором, что отныне вокруг гротмейстера Мальтийского ордена, главы рыцарей всего мира, незримо присутствует небесная стража.

Павел, получив долгожданный покой, отогнал от себя подозрительность. С благожелательным вниманием слушал он доклады своих вельмож — то ли на террасе в саду, то ли в Камероновом изящном павильоне Трех граций<sup>21</sup>.

Однако в начале августа злая судьба словно позаботилась замутить его недолгие светлые дни.

Распустил некто слух, что будет тревога, солдатам она вдруг почудилась, и с примкнутыми штыками они ринулись вверх по горе со стороны трельяжа<sup>22</sup>. Здесь их остановил сам Павел, катавшийся неподалеку верхом. Слегка побледневший, но вполне владея собой, он похвалил за порядок семеновцев и отечески пожурил преобразенцев за то, что бежали вразброд.

Мария Федоровна плакала. Ее губы, еще сохранившие свежесть, дрожали, и жалобным, тонким голосом, который в первые годы брака заставлял Павла исполнять немедля желанья супруги, а сейчас раздражал, словно писк комара, Мария Федоровна просила:

— Запретите, мой друг, собираться толпе. Когда эти люди мчатся вперед, как бизоны, я их ужасно страшусь. Сигнал к тревоге исходить должен только от вас. От монарха...

Государь любезно согласился с женой. Благодарил за усердие окружившие дворец столь поспешно войска и в причину тревоги углубляться не стал. Но, удалившись в свою опочивальню, внезапно охвачен был приступом оставившей было его подозрительности.

Можно ли было верить Марии Федоровне, жене, которая могла в свое время скрыть от него, супруга, что Екатерина принуждала ее дать свое согласие на лишение его насильственно престола?

После смерти матери сам он нашел этот документ. Когда Мария Федоровна после родов младшего сына, Николая, еще оставалась одна в Царском Селе, матушка потребовала у нее подписи на заготовленном акте его предполагаемого отречения. Правда, самой подписи жены не стояло, было только обозначенное, заготовленное для нее место, и Мария Федоровна уверяла, что Екатерина сильно разгневалась по поводу ее отказа, а она сама все это дело скрыла от него, Павла, из великой к нему любви, оберегая его чувства к матери.

Отказалась... Павел горько усмехнулся. Свои расчеты у нее: участвовать в лишении престола отца ради сына не захотела, но, при ее тщеславии, о престоле для себя самой мечтает. Пример не за горами — ведь тридцать четыре года царствовала незаконно, после смерти Петра Третьего, его матушка. Россия слишком привыкла к правлению женщин... И Павел не выполнил просьбы Марии Федоровны, не запретил собираться по неизвестно кем данной тревоге, указал только место для сбора.

Загадочное происшествие вскоре опять повторилось; царская семья, вся бывшая на прогулке, поражена была криками, суматохой, вразброд устремившимися к замку гусарами и казаками. Павел кинулся к назначенному пункту, произвел дознание — оказались сущие пустяки: рожок почтаря ошибочно приняли за сигнал, барабанщики ударили в барабаны, полки двинулись.

Но окружавшие его солдаты с неподдельным простодушием такое выразили о нем беспокойство, что Павел до слез был растроган. Вот солдатам он верил, а жене, едва глянул в ее глаза, изображавшие верность до гроба, — не поверил. И как делал раньше, не желая слушать придуманных ею домыслов, убежал скорее в глубь парка.

Нет, сколь ни борется он с собой, нет больше здоровья душе! Видать, неизлечимым осталось то глубочайшее потрясение, которому был подвергнут родной матерью почти в день смерти его первой, так беззаветно, так молодо любимой жены Натальи Алексеевны<sup>23</sup>.

Видать, навеки разбил его сердце и помрачил разум тот страшный миг, когда матушка сочла нужным сообщить ему с неотвратимыми доказательствами об измене ближайших ему людей — любимой жены и друга ближайшего Андрея Разумовского...<sup>24</sup>

Быть может, той внезапностью потрясения она хотела свести с ума нелюбимого сына, вечного наследника, как звала его, рас-

сердись, Мария Федоровна, и уже на основании законном объявить его лишенным престола...

Вот она — незаживающая рана. Порой сдается, что затянулась, что всё в прошлом, всё позади. Но вот малейший повод — и всё горше прежнего. Ведь если Мария Федоровна еще так недавно, хоть сгоряча, но могла ему сказать: «пожилой вечный наследник», — сколько чувствует она как женщина к нему в своем сердце презрения! И поставить себя на его место, захватить трон, как сделала его мать с его отцом, — ужели не приходит ей в голову?

Если первая, любимейшая жена, первейший друг могла так предать, а родная мать — нанести смертельный сердцу удар, что ждать от этой весьма тщеславной спутницы жизни?

А ведь основой чувства его было с юности — великодушие, щедрость, любовь. Да еще недавно... разве не эти качества толкнули его обласкать своего врага лютого — Платона Зубова? Тронулся рыданием его над телом покойной царицы, поднял его, с неистовым чувством при всех вскрикнул:

«Кто старое помянет — тому глаз вон!»

Дворец подарил Зубову. Из кабинета двора приказал заплатить тайному советнику Мятлеву за тот дом сто тысяч. За обедом здравцу врагу лютому возгласил;

«Сколько капель в сем бокале, столько лет тебе здравствовать!»

— Ни в чем меры не знаю... — горько прошептал Павел и громче сказал:

— Нет, не прошла обида на Зубова. Внутрь загнал ее, а она вдвое лютей.

Вот они, старые охотничьи домики. Сюда спасался в тот страшный день, когда Зубов за обедом у матушки оскорбил, а она не вступилась.

Забавно рассказал что-то за обедом Зубов, и Павел, позабыв свои злые с ним счеты, весело засмеялся, а тот, приняв несносный свой чопорный вид, дерзко вымолвил: «Сморозил я глупость, что наследник изволит веселиться?» Не оборвала мать фаворита, напротив, своим молчанием подтвердила мнение, что сын — дурачок и до сознания его доходить могут одни глупости.

Воскрешенная памятью обида — что снежный ком: двинулся невелик, а докатился до подножия горы — сам горой стал.

Плетей достоин тот Зубов, а он, император, Дон-Кихот наших дней, дворец ему жалует, придворную ливрею, чтобы покрепче запомнили: через матушкину спальню Зубовы с ним породнились, одного корня стали.

И вот не удержался, гневный приказ вырвался сам собой: генерал-фельдцейхмейстера графа Платона Зубова — вон из службы. Вон из России, за границу, в свои литовские имения пусть убирается.

Черт его веревочкой с этим фаворитом матушкиным связал. Несет проклятье его судьбе этот человек. Вот и сейчас кабы новой беды не накликать.

Самый выезд Зубова за границу впледел злое звено. На его путь императорский бросил черную предостерегающую тень: вызвал бешеный гнев на барона фон дер Палена. Роковой этот гнев, ибо он вызван в самый день закладки Михайловского замка<sup>25</sup>, последней твердыни, оплота от предателей.

Через Ригу должен был въехать польский король Станислав-Август, ему готовилось торжество, встречи, парадный обед. Но король чего-то замешкался, вместо него объявился в Риге Зубов. И вот ему как русскому важному генералу рижские бюргеры воздали королевскую честь, — не пропадать же закупленным на парадный обед яствам и винам.

Павлу обо всем последовал донос, а от него немедля приказ: выключить со службы барона фон дер Палена.

Но по тайному учению масонскому, ему известному, если при закладке нового здания омрачен дух закладчика гневом, нет и не будет делу успеха. Ничто, предпринятое в гневе, на пользу не пойдет. Еще хорошо, что не кто иной — свой, верный человек под его гнев подвернулся.

Фон дер Пален сейчас — граф и военный губернатор города и человек ближайший, доверенный. Этот не предаст.

Сейчас Мария Федоровна на очереди, она всех больше мучает. Но когда же, собственно, с ней началось?

Оглянувшись, увидел вблизи скамью Оленьего мостика: вот на этом месте еще в прошлом году впервые сам себя испугался, потому что назвал свою болезнь. Имя ей — безумие. До тех пор носил в себе, и не называл, и не ведал, что это болезнь.

Павел не сопротивлялся воспоминаниям, и они влекли его неумолимой своей постепенностью...

Прошлой осенью были большие маневры в Гатчине — любимые угрюмые места, верные гатчинцы. Все вышло удачно, всем остался доволен. Отдохнул душой и приехал обратно веселый к своей семье в Павловск. Радовался всех увидеть, и даже наследника Александра. Первенец, любящий сын, кто смеет на него клеветать?

И почему ему не быть любящим сыном? Разве претерпел он от отца то, что самому Павлу пришлось претерпеть от матери,

великой императрицы? Нелюбовь ее, оскорбительную скупость, в то время как на очередного фаворита миллионы бросала. Кто был он при матери? Незаконно лишаемый трона, преследуемый призраком убитого отца. Прочь, прочь недоверие к Александру!

После успешных гатчинских маневров поехал в Павловск. Было отменно приятно, спокойно на душе, но вдруг странно поразило, что никто из домашних при въезде его не встречает. Однако не рассердился, а, озабоченный, любопытствовал узнать, не случилось ли чего, здоровы ли все.

А произошло то, что супруга Мария Федоровна, в своей немецкой сентиментальности припомнив, как любили у нее в родном Этюпе всякие нежные сюрпризы, придумала устроить ему встречу в костюмах и гримах. Некий, словом, затейливый домашний машкерад.

Когда, уже не на шутку встревоженный, он далеко впереди свиты почти побегал ко дворцу, вблизи Крика раздалось пенье, чудеснейший хор. И тотчас некий аванажный мужчина, вроде хозяина дома, стал, низко кланяясь, приглашать почтить его посещением.

— Верно, Нарышкина затеи... посмотрим, чего начудил, — сказал свите император, развеселясь и входя сам в игру.

Тут окружен был он хористами и завлечен ими в хорошенький сельский домик под пение:

Где же лучше, как не в недрах собственной семьи...

И на пороге дома кто-то в сладостных слезах радостной встречи пал ему в объятия.

Батюшки, супруга Мария Федоровна. Отяжелела, сударыня, однако ловко ее подхватил и любезно оглянулся, слушая концерт нарядных маркиз и маркизов. И вдруг всех узнал: скрипач — Александр, певица — его супруга Елизавета Алексеевна, а дочери — кто за арфой, кто за органом.

— Ловко средь бела дня сумели меня одурачить, — то ли в похвалу, то ли с осуждением вымолвил.

Сразу и не разобрал, кто кем наряжен. Обошли, слов нет, обошли. А в шуточном сумели, сумеют и в главном. В том, чего тайно хотят и сын и жена. Престола хотят...

Схватило удушие, предвестник великого гнева. Того, с которым не справиться. Поражая всех, вдруг вырвался из объятий, выбежал, хриплым голосом крикнул: «Не смей за мной!» Сам себя испугался. Убежал, чтобы не отдать приказа Кутайсову<sup>26</sup>: «В крепость тех двух — мать и сына. В Шлиссельбург!»

Вот тут, на этой самой скамье, опомнился. И то, что медлил понять и назвать — свою несказанную муку, назвал: безумие.

Сейчас тихие над ним мерцали звезды. Всюду в парке был великий покой. Только речка журчала.

Нет, ни патер Грубер, ни костры Мальтийского ордена — ничто ему не в силах помочь. И без конца терпеть безумие на троне кто станет?

Недаром, когда рыли фундамент для возведения Михайловского замка, нашли монету чеканки считанных дней злополучного императора Иоанна Антоновича<sup>27</sup> — плохое предзнаменование. Ужели бывают предначертанные, роковые судьбы? Но помирать, как одураченный, усыпленный всякими там машкерадами, слуга покорный! Лучше сам я всех обдурю. Буду защищаться — я император, помазанник. Архистратиг Михаил — мой страж.

Павел поспешно вернулся во дворец, призвал архитектора Бренну и, не слушая больше никаких возражений о сырости, вредной здоровью, гневно приказал без проволочек заканчивать Михайловский замок.

<...>

### *Глава одиннадцатая*

Денщик Прохор, вдруг отрезвевший после обеденной выпивки при виде лихой фельдъегерской тройки, свернувшей к дому Суворова, ворвался к нему в комнату и испуганно прошептал:

— Фельдъегерь жалуется...

Суворов сильно побледнел, забилося сердце, и в голове пронеслось: дождался.

— Открыть ворота! — приказал он.

И, не забыв заложить закладку, вышитую крестиком дочкой Наташей, на оборванном чтении любимой книги о деяниях Петра Великого, он прошел к теплой печке и стал прямо, словно во фрунт, прислонясь спиной к расписным изразцам.

Суворов недавно послал государю просьбу о разрешении идти ему в монастырь. Он был истомлен вынужденным бездействием ссылки, тоской и обидой на Павла, которому не мог помешать калечить на прусский образец любимое войско. «Каждый солдат мне дороже себя, — говорил, не скрываясь, Суворов, — а у нас он подчинен ныне прихотям и тиранству. За солдата я кого угодно себе воздвигну врагом».

И воздвиг — самого императора.

— Покажет он мне тихую обитель в сибирской тайге, — шептал Суворов, ожидая фельдъегеря.

Но вторично распахнулась дверь, и, улыбаясь восхищенно, Прохор возвестил:

— Обознался я. К нам генерал Толбухин приехали!

— Проси, проси... — И Суворов сам кинулся в прихожую.

Толбухин был одним из немногих приятных ему генералов, присылка его в Кончанское означала царскую милость. Не изгнание, а почет.

В передней обнялись. Сбрасывая на руки Прохору, теперь уже опьяневшему от счастья, обширную волчью шубу, которую не прошибают никакие морозы, сановитый Толбухин, уважительно поклонившись Суворову, произнес:

— С великой вас честью!

Войдя в горницу, он вручил большой пакет с царской печатью.

— Его императорского величества собственноручное вам письмо!

Суворов сломал печать и прочел послание Павла: «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитывать. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше — спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте от славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть»<sup>28</sup>.

— Пригодился Суворов! — усмехнулся фельдмаршал. Глаза его загорелись веселым лукавством. — В монахи-то, пожалуй, мне отложить?

— Это Питт, английский премьер, предложил вас союзной армии, — сказал Толбухин, — а министр австрийский Тугут, слышать, упирался. Боятся они вас, однако пришлось уступить.

— Тугут! — воскликнул Суворов, и слабый румянец вспыхнул на его тонком лице, где, как на лице Вольтера, ничего не было лишнего, мертвого, не выражавшего силы, мысли и воли. — Сия сова или сошла с ума, или его никогда у ней не было! Засел в своем гофкригсрате и оттуда, за сотни верст, мнит управлять своей армией. То-то французишки бьют их. И не зря они меня боятся: я ихнего венского кабинета слушать не стану. И персонального себе профита австрийцы пусть не ждут от меня — я им не каштанный кот из огня каштаны таскать!

— Наши войска, согласно союзному договору, двинуты против Франции... — осторожно начал Толбухин, но Суворов быстро прервал:

— А коли двинуты — о чем и говорить? Теперь только нам побеждать во славу оружия русского! А сие возможно, ежели воевать будем по-русски, а не как нынче обучены все Тугутовы да и наши — по-прусски. Когда я молод был, мы Фридриха бить ходили, и аттестовал он нас так: московиты суть дикие орды. Зато после Кунерсдорфа<sup>29</sup> редакцию изменил: этих русских, сказал он, можно всех до единого перебить, но не победить. А не он ли кричал, не помня себя, когда проиграл баталию: «Ужели для меня не найдется пули?»

И с обидой, заново вспыхнувшей, за свое возлюбленное войско, замученное павловской муштрой, Суворов выкрикнул:

— Ежели русские всегда били прусских, что ж и перенять нам у них?

Поужинали рано и пошли на покой. Выезжать надлежало на рассвете.

— Проша, — сказал, словно робея, Суворов, — ты бы у старосты в долг раздобыл. Путь-дорога нам дальняя, а у фельдмаршала денег-то...

— В кармане вошь на аркане — известное дело, — dokonчил Проша и пошел к Фомке, старосте.

Достал двести рублей.

Всю дорогу Суворов погружен был в глубокую думу. Лицо его, пленявшее быстрой сменой выражений, как бы замерло. Большие веки прикрыли зоркие глаза, он весь ушел внутрь себя. Он готовился к великому бою... Несмотря на большой соблазн предложения Австрии, он твердо решил взять командование союзной армией только в том случае, если Павел не свяжет его никаким обязательством следовать в предстоящем итальянском походе его прусским затеям.

В свою очередь и Павел немало волновался, ожидая Суворова. Прежде всего он боялся, что строптивый старик не поедет вовсе, и что же тогда с ним прикажете делать? Сейчас, ввиду внимания к нему всей коалиции, не ссылать же его, в самом деле, в Сибирь?

Со все растущей обидой вспомнил Павел, как в последнем свидании тщетно уламывал фельдмаршала вступить вновь на службу; как на разводе, куда Суворов был им приглашен, единственно из уважения к нему солдат пустили «в штыки», а Суворов развода не досмотрел и уехал раньше его, императора, явно придумав зазорный предлог: «Помилуй бог, схватило брюхо!» Припоминал Павел, шагая взад и вперед по опостылевшему покою Зимнего дворца, из которого все еще не удалось переехать в Михайловский замок, и все уже ставшие поговоркой народной издевательские



словечки Суворова над введенной им формой одежды, над косой, треуголкой и пудрой. И как при встрече с ним Суворов нарочно не мог вылезти из дверцы кареты: все будто путался в ней со своей шпагой нового образца под приглушенный хохот придворных.

«И какой только силой этот старик побеждает, воюя противу всех воинских правил?» — с досадой спросил себя Павел. Тут же с радостью вспомнил отзыв завистливого царедворца, услышанный им наемни: у Суворова не искусство военное, а чистый натурализм, сиречь — случай, безумие, счастье. Однако сей натурализм немало нам снискал победу при матушке — под Рымником Суворов побил с двадцатью пятью тысячами сто турецких, а при Козлудже с восемью нашими вражеских сорок<sup>30</sup>.

Павел подошел к высокому готическому шкафу, вынул старую книгу в кожаном переплете и сел в кресло. Он раскрыл Сен-Мартена на главе «О священной иерархии»<sup>31</sup> и прочел знакомые страницы, которые неизменно подкрепляли его веру в свое высшее право и значение.

Выходило, что монарх — орудие самого бога, и на нем, после помазания на царство, как на лице духовном, почитает благодать.

«Коль скоро я не самовольно на троне, как моя покойная матушка, — гордо думал Павел, — я самим рождением моим поставлен над всеми, то сим правом обязан воспользоваться. Более того: обязан настаивать, хоть бы с применением силы, на исполнении воли моей».

А воля Павла была выражена еще в той записке, которую, будучи наследником, он подавал Екатерине о необходимости ограничить людей, от фельдмаршала до рядового, столь подробными на все инструкциями, чтобы ни мысли собственной, ни самоволия иметь не могли.

Тем более сейчас больная душа его находила недостающую ей опору в механичности порядка, доведенного до того предела, где и лишний вздох становится проступком.

А строптивый фельдмаршал, ему не раз доносили, во всеуслышанье объявлял: «Действуй неустанно собственным разумом — будешь жив, человек!»

Усилием воли Павел отогнал от себя распалывшие гнев воспоминания о Суворове. Сейчас все-таки самое главное — чтобы он приехал.

Наконец бешено примчавшийся курьер, предваряя фельдъегерскую тройку, привез известие, что фельдмаршал вот-вот прибудет в Петербург.

У Павла отлегло от сердца — не посмел послушаться! Но тут же привычная подозрительность влила свою отраву:

«За легкими лаврами старик поспешил, думает, за горами мне его не достать. А ну, как разложит он мне самовольством всю армию? Досмотр за ним нужен, досмотр...»

И Павел велел призвать к себе генерала Германа.

Недаровитый, старательный служака, этот генерал, всем подтянутым видом отвечавший требованиям Павла, изобразил на тусклом лице своем одну готовность слушать и исполнять.

Павел сказал:

— Венский двор просил меня начальство над союзными войсками вверить графу Суворову. Предваряю вас, что вы будете все время его командования иметь за ним наблюдение и соответственно делать доклады об оном. Не допускайте его увлекаться своим воображением, заставляющим его забывать все на свете.

— Ваше величество, — оторопев от испуга, сказал Герман, — но фельдмаршал ведь всемирно прославлен победами, и ему шестьдесят девять лет...

— Нет ему возраста, — оборвал Павел, — а его своеволию нет предела. Исполнять, что приказано!

Доложили Суворова. Павел, сильно волнуясь, сделал несколько шагов на середину покоя. Суворов вошел.

Обычная легкость его существа, от усилившейся худобы и болезней стала какой-то невесомой, крылатой. Казалось, он освобожден от всей земной тяжести и, если захочет, может взлететь. Гармоничность его быстрых мелких движений и соразмерность всех членов создавали впечатление отлично подогнанного легчайшего механизма, вместе с тем не хрупкого, но обладающего гибкой крепостью стали.

От нервного возбуждения сейчас особо подчеркнут был мускул правой щеки, чуть змеилась улыбка. Его глаза, широко раскрытые, синие, полны были такого зоркого огня, такой превышающей силы, что Павел вдруг смешался и не знал, что сказать.

Суворов поклонился согласно этикету, но заговорил первый:

— Ваше величество! Во славу моей родины приношу жизнь мою и все мои знания. Но слушаться гофкригсрата, — воля ваша — не стану! За тысячу верст невозможно баталией руководить. Одна минута решает исход. Один час — успех кампании. Один день — судьбу империи. Коли я полководец — сам действую, сам решаю, сам отвечаю.

Павел сделал еще шаг к Суворову и внезапно для себя самого вдруг сказал:

— Воюй как умеешь...

Очень скоро Суворов уже несся в дорожной кибитке в Вену с неизменным своим спутником, денщиком Прошкой.

После прощальных возлияний с приятелями Прохор мирно похрапывал, а Суворов никак не мог успокоиться на кожаных подушках сиденья: то он вскакивал, наклоняясь вперед, как бы стремясь еще ускорить бег коней, то, взобравшись высоко, говорил сам себе:

— «Воюй как умеешь» — вот это дело! Ну и повоюем же мы...

Прохор проснулся и ворчливо сказал:

— И мягко, кажись, вам и тепло. Чего еще требуется? А человеку из-за вас не вздремнуть.

— Торжествуй, Проша, — Суворов хлопнул денщика по колену, — первая наша победа одержана. Как в поход тронемся, окаянную косу всем прочь!

— И дело, — согласился Прохор, зевая, — давно б ее крысам сожрать.

<...>

Кто для гофкригсрата был русский полководец? Чудак, дикарь, не умеющий вести войну по правилам, но которому непостижимо сопутствовала многократно проверенная удача.

Хотя высшая австрийская военная инстанция назначила Суворова главнокомандующим соединенной армии только благодаря настояниям Питта, однако в Вене создали не только внешний почет, но и оказали уважение общеизвестным причудам фельдмаршала.

Во дворце, где он был помещен, занавесили зеркала, для постели ему на узорный паркет, натертый до блеска, принесли охапку душистого сена. Не уставали лицемерно и преувеличенно восхищаться суровым распределением рабочего дня фельдмаршала. Вставал Суворов, как всегда дома, в четыре часа, обливался ледяной водой и в восемь уже обедал весьма скромными яствами. Он не посещал раутов, ссылаясь на нездоровье, так что император Франц, опасаясь нарваться на отказ, Суворова к себе и не пригласил.

Особенно торжествовал Митя, когда слушал рассказ Дронина о том, как явились к Суворову члены гофкригсрата, о котором он говорил обычно, расчленяя насмешливо длиннейшее слово на три составные и сопровождая каждое либо припрыжкой, либо преувеличенно уважительной гримасой:

— Придворный военный совет. Сиречь: гоф-кригс-рат!

Этот вот кригсрат предложил Суворову изложить подробно весь план своей кампании. Фельдмаршал увернулся, объявив, что

планы у него появляются только на месте баталии, соответственно создавшимся обстоятельствам. Тогда австрийцы принесли план собственный, где конечной целью кампания намечено было отеснение французов к реке Адде.

<...>

Однако при прощании первый министр все-таки ухитрился вручить Суворову несносную инструкцию императора Франца — приказ сообщать в Вену не только действия, но и военные предположения...

— Это сова сумасшедшая, Тугут, натугутил! — фыркнул Суворов. — Они бы еще с луны затеяли руководство боями.

Из Вены Суворов и все русские двинулись в действующую армию. Во власти Суворова были австрийцы под командою старого генерала, «папаши Меласа». Французы двигались с талантливым Макдональдом и нелюбимым солдатами старым генералом Шерером.

Тихоходная австрийская армия под нажимом Суворова сразу преобразилась. Он вдвое увеличил дневной переход, и что русским было привычно, для австрийцев превратилось в пытку. Обувь скоро развалилась, шли босые, неустанно жалуясь на жестокие требования главнокомандующего. Русские же солдаты, освобожденные от ненавистных кос, заметно повеселели и рвались вперед. Пока без боев подошли к Вероне. Французы раздражали своими грабежами население, и потому Суворов встречен был как освободитель: веронцы выпрягли из коляски его лошадей и на себе ввезли в город.

В Вероне Суворов принял командование союзной армией. Дронин усадил Митю с его альбомом так, чтобы он не проронил ни одного выражения необыкновенного лица Суворова, которое во время церемонии приема то и дело менялось. Старый воин генерал Розенберг по очереди представлял ему главных австрийских начальников и всех русских. У Суворова уже о каждом было свое мнение, каждому сделан учет заслуг и дарований, но он сделал вид, будто видит представляющихся ему впервые. Суворов вытянулся нарочно церемонно, словно стоял во фронту, и закрыл глаза. Прозрачные старческие его веки чуть дрожали, порой выглядывал из уголка насмешливый, острый зрачок

Розенберг называл фамилии людей, не обладавших особыми дарованиями, тусклых, в лучшем случае усвоивших звание механизированной военной науки, тупозрячих австрийцев, либо гатчин-

ских молодцов, за отличием и чинами поспешивших на войну да попутно чтобы выследить и доложить государю все промахи фельдмаршала против предписанных мелочных правил введенного Павлом устава. Самовольник-фельдмаршал — твердо знали они — как был, так и остался неугоден императору и только в силу необходимости вызван из ссылки на высокий пост: по настоянию Англии, в угоду вспыхнувшему тщеславию самого императора, объявившего придворным, что «русские всегда приносятся». Пока фамилии называемых Розенбергом людей не вызывали уважения Суворова, он, как бы тихо изумившись, однако явственно, во всеуслышание восклицал:

— Помилуй бог, никогда не слыхал... познакомимся. — Проглотив горькую пилюлю, однако хорохорясь и пряча до подходящей расплаты свою обиду, начальники, поклонившись, шли мимо, а Дронин шептал Мите, увлеченному своими набросками:

— Еще один враг готов... Эх, свалят они его, как злые осы медведя!

Зато едва попадался воин, любящий свое дело, глаза старика загорались горячим приветом. При появлении же молодого Багратиона сам фельдмаршал вмиг помолодел и кинулся к нему с объятиями.

После приема все ждали от главнокомандующего парадной и пышной речи, в которой, как обычно в таких случаях, для поощрения участников возлагаются на них словесно те и другие преувеличенные надежды с перечислением предполагаемых достоинств.

<...>

А он, пренебрегая важной неподвижностью, которая, по представлению австрийцев, была выражением собственного достоинства, быстрый, легкий, заметался вдруг по комнате, словно наглядно сбрасывая с себя все те лишние, не решающие дела слова, которых, знал он, все от него ждали. И вдруг остановившись, произнес то единственное, что почитал нужным. Говорить лишнее было ему столь нестерпимо, что он просто повторил всему генералитету те руководящие слова, которые уже были им найдены и закреплены в его «Словесном поучении солдатам». Их он и просыпал частым градом на почтительно склоненные головы начальников.

— Субординация, экзерциция, чистота, здоровье, бодрость, смелость, храбрость, победа. И — каждый воин должен понимать свой маневр.

Австрийцы, почитая, что они давно превзошли гораздо сложнейшую военную науку, обиделись и послали в Вену не один донос на самодура-фельдмаршала.

<...>

Около половины марта великий князь Константин выехал в армию Суворова. Он давно порывался на войну, но Павел ему сказал:

— Голицын ведет вспомогательный корпус, состоящий на жалованье у Англии, а корпус Розенберга на таком же положении у Австрии; я бы не хотел, чтобы русский великий князь стал участником такого похода.

Но вот образовалась суворовская армия, которую льстиво именовали «спасительницей Европы». Она снаряжалась на свои, русские средства, и Павел с особым удовольствием отпустил туда сына.

Константин выехал волонтером с небольшой свитой, главным приставленным к нему был один из лучших екатерининских генералов, Дерфельден. Этот же Дерфельден назначен был Павлом в случае смерти Суворова ему преемником.

Константину было всего двадцать лет. Он рос под торжественной сенью оды Державина, еще до рождения приветствовавшего его как «носителя шлема»<sup>32</sup>. Поэт шел навстречу мечтам императрицы Екатерины — воспитать второго внука императором греческим, почему и ожидало его преемственное имя Константин, уже украсившее двух доблестных императоров. В десять лет, однако, «носитель шлема» еще не умел бегло читать, а когда ему минуло пятнадцать, многотерпеливый великокняжеский наставник Лагарп, указывая Екатерине на всю бесполезность занятий со своим младшим питомцем, просил его уволить от этого дела. И до наук ли было, если шестнадцати лет этот великий князь уже женился. Однако тот же справедливый Лагарп отмечал, что в характере Константина заложены зачатки добродетелей и талантов, превышающие обычный уровень, но недостатки его неодолимо препятствуют развитию сих добрых качеств...

Но если к наукам у Константина было решительное отвращение, скоро он сделался усердным служакою, крайне требовательным и подчас даже жестоким к солдатам своей роты. Унаследованная от отца неуравновешенность и бешеная вспыльчивость доводили его до такого самовластия, что имеющие с ним дело военные высших чинов должны были припугивать его военным судом и собственным родителем, которого он трепе-

тал. Однако, подтягивая самолично ослабевшие ремни ранцев у молодых солдат, не мог воздержаться, чтобы не дать им похода зуботычины...

Этого сына, с одной стороны — отличного выученика ненавистной Суворову гатчинской школы, с другой — обладавшего ничем не укротимым своеволием, Павел, не без тайного злорадства, послал к Суворову, отлично зная, как его присутствие может стеснить главнокомандующего.

Суворов ждал Константина с великим неудовлетворением. Помимо невыгодного личного впечатления, он помнил отрывки из-записок сего «носителя шлема», где выступала вся его убогая военная философия, совершенно противная основным положениям суворовского «Словесного поучения солдатам».

Константин полагал, что «причуда» начальника должна сделать своего подчиненного слугой, который может быть «употреблен на всё».

Великий князь, как и недавно приехавший Суворов, остановился в Митаве, где его угощал парадным обедом брат казненного короля и где с французским остроумием ему рассказаны были пресмешные вещи про Суворова, которого он тайно боялся.

Выход Суворова в одном нижнем белье, с молниеносной сменой его же и появлением в полной парадной форме, для наглядного опровержения старческой дряхлости, — пленил Константина, и показалось ему в глупой заносчивости, что его собственное самодовольство чем-то сродни причудам главнокомандующего. И если Суворову лестно было доказать перед нарядной приемной, что он не мокрая курица, а орел, он оценит и ту безоглядную храбрость, которую он, царский сын, собирается проявить.

На последней станции перед Веной великого князя встретил его родной дядя, герцог Вюртембергский, губернатор Вены. Он с ужасом рассказал племяннику про все капризы фельдмаршала, напугавшие австрийский двор: как он во дворце сделал себе сеновал и как повел образ жизни, более приличный настоятелю монастыря, нежели полководцу, имеющему общение с коронованными особами.

Константин хохотал:

— Это он нарочно, чтобы показать, что ему на всех вас наплевать...

Однако ему было лестно, что сам он ежедневно обедает с императором во дворце, что русский посол Андрей Разумовский в его честь устраивает в своем великолепном доме на Пратере рауты,

концерты, что когда он появился в театре, то был встречен вставанием и единодушными рукоплесканиями.

И мало-помалу потерявшему голову от почестей Константину стало казаться, что главнокомандующий армией не только один Суворов, но и он сам как-то не менее важен.

Он было собрался пожить в веселой Вене, но Дерфельден заторопил его, пугая, что Суворов так скоро порешит, по своему обыкновению, с врагами, что на долю великого князя и побед не оставит. Взбалмошная голова Константина полна была одним желанием отличиться, и, оставив Вену, он явился в корпус генерала Розенберга, который находился вблизи Валенцы.

Узнав, что около Валенцы большое скопление французских войск, а сам город сейчас для общего плана войны брать неважно, Суворов предписал Розенбергу срочное отступление. Только что появившийся Константин, считая, что подходящий случай ему прославиться наступил, стал требовать атаки Валенцы. На Розенберга он подействовал насмешкой:

— Вы привыкли служить в Крыму, там были спокойны и неприятеля в глаза не видали!

И старый генерал, как тщеславный мальчик, послушался главнокомандующего и пошел на французов.

Константин рвался вперед без оглядки и чуть было не погиб в реке. Благодаря его запальчивости и малодушию генерала бой при деревне Бассиньяно был проигран. Русские совершенно зря потеряли около полутора тысяч человек и два орудия.

Суворов был в ярости. Он послал вторичный приказ отступить с собственной отметкой Розенбергу: «Сие немедля исполните или подлежите военному суду».

Розенберг, гонимый превосходными силами французов, отступил в беспорядке, и Суворов принужден был сам поспешить ему на помощь.

Все ожидали, как встретит Суворов великого князя, который должен был после проигранного боя явиться к нему.

Суворов встретил Константина, строго соблюдая предписываемый в сем случае этикет. Он вышел к нему навстречу, склоняясь, быть может несколько подчеркнуто, ниже, чем следовало.

Константин, выглядевший гораздо старше своих лет, коренастый, словно налитый тяжестью, раскаяния и страха не проявлял. Он только против обыкновения не сутулился, а напряженно выставил голову, будто собирался бодаться своими дремучими, кустистыми бровями цвета спелой соломы.



Суворов впустил великого князя и собственноручно запер за ним дверь. Быстро оглядел, не задержался ли где Прошка подслушивать, и близко подошел к Константину.

— Легкую захотели себе, сударь, победу? — гневно начал он и на попытку великого князя что-то ответить с такой силой не то что крикнул, а напротив того, прошептал: — Молчать! — что Константин оробел. — Легкую победу, да нелегкой ценой! Уложил зря полторы тысячи человек. Солдат дорог! — крикнул Суворов. — Забота о чести русского оружия, забота о людях, кои вам вверены, — вот долг. А вам? Что вам, сударь, доступно?

Суворов отошел и вдруг подбежал так близко, что вытянувшийся по швам Константин заморгал часто-часто рыжими ресницами и его большие голубые глаза непроизвольно налились слезами.

Суворов, как бы бросая круглые камни в тихую воду, сказал, отчеканивая каждое слово:

— До сей поры вам свойственна была лишь строгость по прихоти, то есть — тиранство. Вместо истинной военной науки вам известны: бахвальство, шагистика, фрунт... А что солдата губить — негодяйство, вы об этом когда-либо думали? На всю жизнь за солдата ответ. Нельзя, государь, жить негодяем, ежели именуется — человек!

Не страх, лишавший всех чувств, как это бывало при гневе родного отца — императора, не то позорное чувство собаки, которую убить может хозяин, нет, нечто расширяющее душу, нечто вдруг вызывающее ее лучшие качества ощутил Константин перед этим невысоким, словно бы тщедушным человеком, который, не боясь ответа, немилости, Сибири, говорил с ним, царским сыном, как власть имеющий.

— Да будет вам стыдно от упреков собственной совести, — приказал Суворов, и Константину стало стыдно, хоть провалиться.

Впервые, потрясенный, ощутил он, что кроме грубой физической силы, которую он так ценил в других и которой гордился в самом себе, была еще и сила превосходнейшая, источником которой были ум, сердце, благородство воли.

— Простите... — прошептал Константин и заплакал. Голова его низко склонилась. В размягченной душе пронеслось: «Вот если бы батюшка был таков, и я б стал иной».

Суворов поспешно опять подошел, чуть коснулся жестких крутых рыжеватых волос Константина и совершенно другим, большой доброты отеческим голосом вымолвил:

— Запомни же... навсегда.

Суворов открыл дверь и, как при встрече, изгибаясь в придворных поклонах, оказывая Константину как великому князю подобающую честь, провел молодого человека с заплаканным лицом несколько шагов вперед. Затем, повернувшись к свите великого князя, стоявшей в испуганном изумлении, с тихой яростью отчетливо вымолвил:

— А вы? Да ежели в другой раз не удержите, на расправу вас всех к государю! Что, ежели б великого князя взяли в плен? Невыгодный заключать мир с французами? А если бы, помилуй бог, убили? Мне ли его переживать? А кто кампанию выиграет? То-то! Мальчишки...

<...>

### *Глава тринадцатая*

<...>

Одиннадцатого октября 1799 года Павел послал австрийскому императору Францу сухое, негодующее письмо, где виною несчастного поражения Корсакова ставил несвоевременный отход из Швейцарии союзных войск под начальством эрцгерцога Карла. Павел разрывал союз с Австрией. А в конце декабря собственноручно написал Суворову:

«Обстоятельства требуют возврата армии, ибо виды венские те же. А во Франции — перемена. Идите немедля домой».

Недоразумения между русскими и австрийскими верхами были столь сильны, так много накопилось у русских обид за обман и предательство, что на балу у сына Суворова, Аркадия, великий князь Константин выгнал вон группу австрийских офицеров.

А когда Суворову император Франц прислал умоляющий рескрипт повременить с уходом в Россию, предлагая неограниченную всяческую поддержку в случае возобновления войны, Суворов сказал его послу генералу Эстергази:

— Над таким старым солдатом, как я, можно смеяться только один раз. Но был бы я слишком глуп, если бы позволил это сделать с собой и в другой.

Я пришел к месту назначенного соединения и увидел себя оставленным. Я вашей армии не нашел.

Павла изменническое отношение Австрии и ее желание загребать жар руками русских привели наконец в гнев, который перебил его желание стать спасителем Европы.

Кроме того, в европейской политике произошли крупные перемены. Когда начался швейцарский поход, Павел еще был полон решимости разгромить французскую революцию и предписывал Суворову: «Старайтесь произвести инзурекций во Франции», а сейчас, под влиянием иезуитов, он нашел формулировку для изумившей всех перемены его политики и сам первый в нее верил:

— Я всегда склонялся тогда в пользу справедливости и долгое время был уверен, что она у противников Франции, ибо ее правительство угрожало всем державам. Ныне же, когда в этой стране скоро водворится король, если не по имени, то по существу, и наступит порядок, это меняет совершенно существо дел.

Сейчас справедливость не может быть на стороне Англии, и в коалиции с ней неправильно долее пребывать, ибо Англия захватила остров Мальту и отказывается вернуть его Ордену. Все это было для Павла не только оскорблением личным, но и прекрасно им понятой угрозой государственной. И для того чтобы успешнее восстать против врага, теперь общего с Францией, Павел в декабре послал Суворову требование возвращаться домой.

Суворов очень тревожился: какова-то будет оценка его похода, неслыханного по трудностям и солдатской доблести и вместе с тем совершенного как бы впустую, для выгоды одних лишь австрийцев, забравших северную Италию в свои руки. Но опасения оказались напрасными. Весь мир понимал, что причиною всех неудач были только австрийцы, а необычайная доблесть солдат и их полководца покрыла Суворова еще большей славой.

Павел дал ему титул генералиссимуса всех сил российских и посылал очень сердечные, восхищенные письма: «Приятно мне будет, если вы, введя в пределы российские войска, не медля ни-мало приедете ко мне на совет и любовь».

Или так: «Сохраните российских воинов, из коих одни везде побеждали, потому что были с вами, а других победили, оттого что они с вами не были».

Европейские державы одна перед другой изъявляли восторги: кресты, награды, всеобщее признание несравненным гением тактики. Адмирал Нельсон писал: «В Европе нет человека, который любил бы вас так, как я».

А ему хотелось одной глубокой последней простоты. Посетив могилу любимого и очень чтимого им полководца Лаудона<sup>34</sup>, прочтя длиннейшую витиеватую латинскую надпись на его гробовой доске, он произнес:

— К чему все это? Мне пусть напишут просто: здесь лежит Суворов.

В Кракове Суворов сдал командование Розенбергу, сам поехал вперед. Он уже чувствовал себя очень больным. Упало нечеловеческое напряжение, и здоровья не оказалось вовсе.

Прощаясь с солдатами, не мог вымолвить слова от рыданий, солдаты плакали, понимая, что уже больше его не увидят. Ему было лестно знать, что сложена про него песня:

С предводителем таким  
Воевать всегда хотим...

Суворов, слабея с каждым днем, медленно двигался в Петербург. Ему было известно, что для его встречи выработан особо торжественный церемониал. В Нарву будут высланы придворные кареты. При его въезде в столицу колокольный звон, пальба из пушек. И в Зимнем дворце для него апартаменты. Все это как-то тешило старика, ласкал душу наконец полученный заслуженный почет. Здоровье же становилось все хуже. Пришлось задержаться в Кобрине. Император отправил к нему лейб-медика. Старые раны его открылись, страдания были очень тяжелые. И вот тут-то настиг его последний, жесточайший удар, нанесенный императором. Двадцатого марта Павел отдал повеление:

«Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел в корпусе своем, по старому обычаю, непременно дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии».

Тяжко больному Суворову прислан был с курьером грозный запрос о том же дежурном генерале с приказанием немедленно уведомить, что побудило его сделать подобное нарушение воинских правил.

Суворов был потрясен. Вынув недавние письма, полные восхищения и любви, он сличал их с последним письмом и недоумевал. Ему известно было также, что Ростопчину<sup>35</sup> при свидетелях Павел сказал: «Я произвел его в генералиссимусы, это много для другого, а ему мало: ему быть ангелом».

Что же случилось? Поводы были пустяковые, а причина глубокая и очень давняя. Быть может, Павел думал, что Суворов не доедет до Петербурга, умрет в пути и созданные для Европы слухи о триумфальной встрече не надо будет осуществлять. Но когда еще раз богатырский дух Суворова восторжествовал над смертельной болезнью и он, полуживой, но владеющий всем своим разумом и волей, придвинулся к столице, воздать ему действительно все обещанные почести с колокольным звоном, с пушечной пальбой стало для Павла

немыслимым. Это значило признать свою возлюбленную прусскую систему побежденной, это значило зачеркнуть себя самого.

Как нарочно, произошла тяжелая история с цесаревичем — так велел именовать Павел второго сына за доблести, проявленные в итальянских походах и самим Суворовым засвидетельствованные.

Цесаревич был встречен восторженно. В его честь даны были особые празднества, на Эрмитажном театре сыграли «Возвращение Полиоклета», а отец отличал его перед Александром.

Как-то Павел, в веселом настроении духа, разговорился с сыном об удобстве предписанной им одежды солдат и спросил:

— А что вам всего более оказалось в итальянском походе на пользу?

Константин, еще полный суворовской выучки и к тому же введенный в заблуждение веселостью отца, ответил простодушно:

— А пользу нам сослужили одни лишь унтер-офицерские алебарды, поскольку они были деревянные и длиной более сажени, — ну и дрова! Погрелись мы в ледниках этими алебардами.

Павел смеяться перестал, однако без гнева приказал сыну представить ему рядового, одетого, как он находит удобней.

Константин представил. Оказалось, что форма напоминала последнюю екатерининскую, упрощенную Потемкиным, которую одобрял и Суворов.

— Вон с глаз моих! — прокричал Павел сыну и тотчас загнал его вместе с женою в холодный дворец в Царском Селе, где сидели в комнатах в теплой верхней одежде.

Константин злобно сказал:

— Суворову завидует отец. Ныне будет преследовать всех, кто с ним отличился в походах.

— Дурак и мальчишка, — отозвался Павел, узнав про эти слова. — У цесаревича трактирные рассуждения. Душе моей зависть чужда. А того он не смыслит, что вся боль моя от посрамления великой системы? Она одна может удержать в повиновении русский народ...

После столкновения с сыном Павлу не остановить было мыслей о том, что Суворов втоптал его гатчинскую систему в грязь: ослабил на весь мир! И вот едет он, победитель, пример всем военным. Да ведь он разложит все войско. Недаром столь лукаво выставляет против Фридриха самого Петра Великого, будто сказано у него в уставе воинском: «Офицерам потребно рассуждать, а не держаться яко слепая стена».

Втайне Павел никогда не переставал питать к Суворову вражду, доходившую до мелочей. Так, дав ему по необходимости княжеский титул, не разрешил именовать его светлостью, как Безбородко и Лопухина. И сейчас с каждым часом вражда эта росла. Если Суворов останется жить, окруженный всеевропейской славой, он, конечно, станет еще дерзновенней по своим взглядам на войско, он — генералиссимус, начальник всех военных сил! Одним своим почетным пребыванием в столице он расстроит военную систему, созданную с таким трудом. Ей отдана с юности, с гатчинского изгнания, вся жизнь. Недопустимо.

И в таком случае, если он не умер вовремя, пусть приедет не в славе и почести, а как опальный, как ослушник императорских уставов. Пусть осуждает вся Европа — всё лучше, чем суворовское торжество. В священном споре о том, как управлять самодержцу вверенной богом страной, решающее слово должно принадлежать не генералиссимусу, каким-то диким волшебством одержавшему противу всех воинских правил победы, а тому до мелочей доведенному порядку, который угоден не только ему, Павлу, — самому богу. А тут кругом еще шепоты о поражении приверженцев гатчинской системы — разбитого Корсакова и взятого позорно в плен со своим войском Германа, того, кто приставлен следить за Суворовым. Оба разбиты наголову. Суворову же въезд с колоколами и пушками? Нет, не бывать тому.

И вот новый приказ:

«Его величество с неудовольствием замечает по возвратившимся полкам, сколь мало приложено старания к сохранению службы в том порядке, как бы его императорскому величеству было угодно, и, следственно, видит, сколь мало они усердствовали в исполнении его воли и службы».

— Это моим-то великомученикам? — усмехнулся Суворов. — Ему, видно, косы дороже голов.

А через несколько дней еще прибавка к выговору.

«Во всех частях сделано упущение: даже обыкновенный шаг нимало не сходен с предписанным уставом».

— Так, — ухмыльнулся Суворов. — А все же история нам запишет и нас немало почитит за то, что не каким шагом, а на собственной заднице мы в Швейцарии с гор в бездну съехали и тем честь русского войска спасли.

Донесли. И еще те слова, что, покачав седой головой, с великой горечью произнес:

— Слов нет — важен руль. А куда важнее рука, что рулем управляет.

Двадцатого апреля Суворов тихим ходом въехал в Санкт-Петербург. Встречи не было никакой. Надо было сразу подчеркнуть, что прибыл не покрытый всемирной славой полководец, а не угодивший государю строптивый подданный, которому надлежит строгий ответ держать за свое дерзновение.

И не успела карета с умирающим приехать на Крюков канал в дом его родственника графа Хвостова, как доложили курьера от государя. словно сам пугаясь своего мелочного и низкого гнева, торопился Павел добить врага. Прислал глупое запрещение:

«Генералиссимусу князю Суворову императорский дворец посещать возбраняется».

Умно, почти весело улыбнулся Суворов и сказал, слабой рукой указывая на свое безжизненное, умирающее тело:

— Куда мне во дворец? И для малой нужды уж не встать.

И, словно отмахнувшись от злой суеты мира, соединив свой возвышенный дух с одним любимым делом и войском, Суворов стал медленно умирать.

Он часто терял сознание, когда же приходил в себя, опять был жив духом, устремлен к одной своей цели: победе оружию русскому. Исправлял ошибки прошедшей кампании. Рвался все в Геную, куда не пустил его в свое время гофкригсрат и что могло бы изменить весь характер похода. Просматривая со стороны, со всей строгостью, собственный жизненный путь, осудительно сказал:

— Гонялся за славою — все мечта.

Долго молчал, закрыв глаза, почти не дыша, — не легко брала его смерть. Наконец словно подвел окончательно итоги своих трудов, упований, всего богатого наследства, оставляемого потомству, и, как бы передавая себя в историю, произнес:

— Как раб умираю за отечество.

Суворов умер в полдень шестого мая 1800 года. Вокруг дома тотчас выросла толпа народа — все плакали, все нелицемерно любили его.

Державин отозвался взволнованной лирой:

Всторжествовал — и усмехнулся  
Внутри души своей тиран,  
Что гром его не промахнулся,  
Что им удар последний дан  
Непобедимому герою,  
Который в тысящи боях  
Боролся твердой с ним душою  
И презирал угрозы страх.

Армию охватила глубокая, безнадежная скорбь. Солдаты знали, что потеряли отца и полководца. В «Петербургских ведомостях» же не было напечатано ни слова ни о смерти, ни о похоронах Суворова.

Воинские почести велено было воздавать рангом ниже, не как генералиссимусу, а как фельдмаршалу,

В погребальной церемонии участвовали только армейские части. Гвардия назначена не была — будто бы вследствие усталости после недавнего парада.

<...>

### *Глава четырнадцатая*

Смерть Суворова, постигнутого внезапной опалой Павла, особенно взволновала всех близких ко двору. Этот капризный переход Павла от величайших похвал к мелочной придирчивости, оскорбительной для великого полководца, возмутил его почитателей и даже равнодушных. Неуверенность в завтрашнем дне еще увеличилась, истерзала всех страхом и ускорила враждебное Павлу объединение. Никто не желал разбираться в смягчающих обстоятельствах, превративших этот характер в «чудище деспотизма», как о нем писали иностранцы.

Ненависть к Павлу особенно усилилась после того, как устранено было коварными наговорами бескорыстное влияние Нелидовой. Это произошло в дни московской поездки и встречи с новой фавориткой — Анной Гагариной.

— Почему меня в Москве так любят, а в Петербурге словно боятся? — наивно спрашивал Павел, принимая восторги москвичей, еще не запуганных, как петербуржцы, каждодневным стеснением узаконенных выше инструкций, дабы и частная жизнь обитателей шла по-фридриховски, по-нашему — по-гатчински...

Ловкий, кем следовало наученный, Кутайсов отвечал, что в Петербурге все злое приписывается государю, а все доброе «эти дамы», государыня и Нелидова, считают делом своих рук.

К слову сказанными намеками Кутайсов все время внушал Павлу, что он является игрушкой в руках Нелидовой и жены. Павел пришел в неистовство и твердо решил принять меры, пресекающие всякие разговоры о порабощении его воли.

По своем возвращении Павел дал при первом же случае очень резко понять Нелидовой, что он «на помочах» водить себя больше ей не позволит. И скоро огорченный вчерашний «ангел-хранитель» вместе с отставленным петербургским губернатором Буксгевденом уехали в замок Лоде. Отдален был также со всею семьей очень пре-



данный Павлу его друг детства Куракин — все теми же происками новой партии, вступающей в силу.

Во главе ее стояли два человека немалой энергии и дарований: Никита Петрович Панин<sup>36</sup> и, ганноверец по происхождению, Пален. Вице-канцлер Панин, человек европейской складки и основательного образования, утратив все надежды на возможность руководить болезненным непостоянством мыслей и поступков Павла, грозящих, по его мнению, гибелью России, решил всеми силами способствовать его устранению от власти.

За несходство взглядов на внешнюю политику, а также за противопоставленную капризным прихотям государя большую последовательность и силу характера Панин был сослан. К тому же дерзновенное остроумие Панина, на которое, казалось, ему давало право совместное воспитание в детстве с государем<sup>37</sup>, было нестерпимо для Павла. Рассказывали, что не так давно Павел, остановившись перед портретом Генриха Четвертого, с горечью воскликнул:

— Счастливый государь, он имел друга в таком великом министре, как Сюлли. У меня ж его нет.

Уязвленный Панин тотчас нашелся сказать:

— Будь только ты Генрихом Четвертым, найдутся и Сюлли.

Первый свой заговор Панин составил вместе с адмиралом де Рибасом<sup>38</sup>, но тот внезапно умер, Панин же принужден был отправиться в ссылку. Но и в отдалении от столицы Панин замыслов своих не оставил. Он оказывал сильное влияние на единомышленника своего графа Палена, которому настойчиво советовал возможно скорей подобрать надежных и крепких помощников.

Пален взялся умело за хлопоты о возвращении из ссылки братьев Зубовых и генерала Беннигсена, известного ему большим хладнокровием и мужеством,

Зубовых удалось вернуть благодаря тому, что заинтересовали в этом деле Кутайсова, неизменного Павлова любимца. Ему Платон Зубов прислал письмо, где сватался к его дочери, и бывший брадобрей, которому было лестно породниться с князьями, упробил об их вызове Павла.

Павел встретил Платона Зубова великодушным восклицанием: «Вторично забудем прошлое!» — и при всей своей подозрительности вдруг оказался непонятно благосклонным к старым врагам, словно поверил в наружно выраженную преданность, и дал всем трем братьям высокие назначения.

Немедленно завелся у Зубовых свой кружок, где и разрабатывался в подробностях заговор, задуманный Паниным, но скоро приня-

вший, под властью Палена, более грубую и насильственную форму. Подбирались нужные люди, обиженные Павлом и своих обид ему не простившие. Был между ними полковник конногвардейской артиллерии Владимир Яшвиль, которого Павел в гневе прибил, был влиятельный командир Преображенского полка Талызин, за которым стоял весь полк, были и другие...

Но самой сильной опорой заговора, главой его, являлся сам граф Пален, человек умный и сильный, для которого в смысле государственном и в отношении личном Павел был ненавистен. Он умел расположить своим видом откровенного военного человека, умело играющего прямо-той, прикрывая ею коварство необыкновенное и умную дальновидность. Как отличный исполнитель приказов императора, умеющий распоряжаться и править людьми, граф Пален стал скоро необходимейшим лицом. Ему Павел доверил высший надзор за почтой, полицию явную и тайную, сделал его петербургским военным губернатором.

Однако, несмотря на свое высокое положение, или, вернее, благодаря именно ему, Пален больше, чем кто-либо, мог опасаться внезапной перемены своей судьбы, ссылки в Сибирь или, в случае открытия заговора, еще чего-нибудь худшего. Он уже испытал на себе превратность фортуны при непостоянном императоре. Давно ли совсем был в опале из-за встречи Зубова в Риге, с отдаaniem в приказе оскорбительного для него определения той простой вежливости, которую он оказал Зубову, как «враждебной подлости».

Еще чувствительней был задет Пален оскорблением, нанесенным его жене. Пален не сделал доклада об одной известии, полученном им из Вены, относительно дуэли некоего молодого человека, туда в гневе отосланного Павлом, дабы удалить его от двора, а Оболянинов, генерал-прокурор, ища погубить Палена, донес об этом сокрытии государю, сказав:

— Если о таких вещах вашему величеству не докладывают, могут умолчать и о важнейших.

Павел измыслил тонкую месть: когда жена Палена, первая статс-дама, приехала, как ей полагалось по званию, в торжественный день ко двору, ей нарочито публично было объявлено, чтобы она возвращалась домой и больше во дворец не являлась.

Пален, вступив в должность военного губернатора Петербурга, стал вооружать против Павла войско и жителей. Усиливал недовольство гвардии, которая и так уже была настроена против Павла за то, что он сравнивал офицеров лучших семей, избалованных екатерининскими милостями, со своими грубыми гатчинцами, людьми темного происхождения и плохих манер.

Политика Палена была противоположностью поведения Нелидовой: не желание исправить совершенные ошибки, смягчить жестокость, а, напротив того, довести ее до высшего предела, дабы заронить в сознание окружающих необходимость устранения самой причины этой жестокости.

Суеверный Павел, по чьему-то пророчеству уверившись, что после четырех лет ничто власти его не угрожает, вдруг решил вернуть обратно всех им сосланных.

Тысячи двинулись в Петербург со всех концов. Первые были приняты с распростертыми объятиями и получили отличные места, вторые мест не получили, а третьи просто-напросто надоели Павлу, и, подзуживаемый Паленом, он никого принимать не велел. Люди без средств, растеряв все знакомства и протекцию, просто гибли с голоду, проклиная произвол деспота.

Как военный губернатор, Пален имел в своем распоряжении все заставы, тайную и явную полицию, заведовал внешними сношениями и почтой. Все повеления Павла шли через его руки. Не дав ему одуматься, Пален грубо и немедленно приводил их в исполнение, чем создавал все новых врагов. Именем Павла граф Пален правил таким образом, что как в России, так и за границей окрепло представление, что русский император сошел с ума.

Важнейшие события произошли во внешней политике Павла. Как недавно он соединен был с первой коалицией, возглавляемой Питтом, с целью низвергнуть власть, «узурпированную» Бонапартом, и передать ее обратно законным Бурбонам, так сейчас, под влиянием умного воздействия клеветов первого консула<sup>40</sup> — иезуитов, вчерашнюю ненависть заменил восторженным обожанием этого нового государя французов, «если не по имени, то по существу». Право на власть и помазание незримой благодатью, по уверению Грубера, перенесены были высшей волей на того, кто, наконец вняв голосу всевышнего, предлагал священный остров Мальту ее грессмейстеру в ту минуту, как попавшая в сети «темных сил» Англия этим островом завладела и не имела намерения его уступить. Разрыв с Англией наносил великий вред заграничной торговле, ибо за сырые произведения русской почвы Англия снабжала мануфактурой и колониальными товарами. Эта торговля обеспечивала дворянство в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, сало, корабельные леса, мачты, лен и пеньку.

Разрыв с Англией окончательно возбудил дворянство против Павла. Мысль известить его стала желанной для знати обеих столиц.

Наполеон между тем, получив неожиданную поддержку недавнего врага, русского императора, решил привести в исполнение свой великий план обессиления Англии. Под начальством блестящего Массены он задумал поход на Индию, для чего французы в назначенном месте должны были соединиться с русскими.

Этим походом воображение Павла было захвачено чрезвычайно. Он сразу захотел наибольшего — обеспечить России преобладание в Индии. Без согласия Наполеона он двинул войска на Хиву и Бухару, о чем последовал приказ Орлову, атаману Войска донского: «Я готов атаковать англичан там, где меньше ожидают. А владения их в Индии самое лучшее для сего».

Павел вознамерился выполнить этот поход при помощи одних казаков, отчего пошли тотчас разговоры, что государь хочет казачество извести, ибо ненавидит его за древнюю неистребимую независимость. В строжайшем секрете держалось передвижение войска, отправленного, как все полагали, на явную гибель.

Последние выходки Павла привели в волнение все население Петербурга, заговорили уже громко, что дальше терпеть нельзя. Панин настаивал, чтобы скорее было вырвано у Александра согласие предложить больному отцу подписать акт об отречении от престола.

Вначале предполагалось, что Александр назначен будет соправителем.

Уже некоторое время тому назад Панин сделал попытку приготовить Александра к этому шагу. Он первый заговорил с ним о сокращении власти отца. Граф Пален, в качестве военного губернатора свободно встречавшийся с наследником, устроил Панину встречу с ним в ванной комнате, дабы избежать подозрений Павла.

Панин красноречиво изобразил Александру, какие беды испытывает Россия и что ее ждет еще впереди, если сейчас не пресечь самодурство несомненно больного государя... Александр, имевший в характере много робкой уклончивости, пока только краснел и отмалчивался.

Торжественное освящение Михайловского замка произошло в день Михаила архистратига<sup>41</sup>, восьмого ноября. Было парадное шествие из Зимнего дворца мимо войск, поставленных шпалерами, и при громе пушек. При обеде, назначенном в час дня без гостей, присутствовал и граф Пален. Он, словно хозяин, ввел Павла в этот мрачный дворец, из которого замыслил выпустить его лишенным сана либо вовсе не выпустить живым.

В гоф-фурьерском журнале записано: «Кубков на случай сего торжества приуготовано не было, а пили вино из обыкновенно употреблявшихся граненых рюмок».

Страшная сырость принудила Павла отложить переезд еще на месяц. За это время срочно сделали в спальнях деревянную обшивку, и наконец желанный день наступил.

Приказано было при осмотре дворца присутствовать строителю Бренне с учеником. Выбран был Карл Росси.

Когда Карл вошел вслед за учителем, император уже стоял в передней овальной комнате у бюста короля Густава-Адольфа.

Павел был в хорошем расположении духа, он, смеясь, говорил стоявшему рядом высокому, дородному Палену о большом полотне художника Смуглевича<sup>42</sup>, на котором архистратиг Михаил свергает демонов в бездну.

— Его стыдливость горше открытой непристойности. Придумать такую почти дамскую хитрость! У Смуглевича каждый свергаемый с неба демон как бы случайно прикрывает причинное место другого демона рукой, ногой или волосами растрепанной головы. Получилось такое смешное неприличие, что духовные особы запротестовали. — И, обращаясь к Бренне, Павел добавил:

— Прикажите Смуглевичу прибегнуть лучше к освященному веками целомудренному фиговому листу.

Не улыбаясь, придворный архитектор склонился перед Павлом:

— Не замедлю исполнить, ваше величество.

Все еще смеясь, Павел быстрым шагом стал пробегать комнаты. Он видел их много раз, но так любил этот свой новый замок, где никто до него не жил, о котором были ему торжественные видения и предсказания долголетия. Чувство защиты внушали ему эти толстые непросохшие стены. Никакое пушечное ядро их не возьмет.

Следующая комната была тронный зал, ее стены покрыты зеленым бархатом и затканы золотом. Огромная печь богато отделана бронзой, а трон обит красным бархатом, заткан и вышит золотом. Над троном герб России, окруженный гербами царств Казанского, Астраханского и Сибирского.

— Предок мой, Грозный, покорил эти царства, — Павел широким движением обвел гербы, — а я прибавил маленький остров Мальту и белый восьмиконечный этот крестик. Но по значению моему приобретение окажется больше всех земель, завоеванных до меня!

Он надулся, как бы желая стать выше ростом, но все еще на целую голову был ниже грузного Палена, которого гордо спросил:

— Сомневаетесь, граф?

— Ваше величество, из вифлеемских яслей засиял некогда свет для всего мира, то же повторится и с указанным вами островом, — почтительно склоняясь, тоном старшего, забавляющего ребенка, сказал Пален. — Отныне белый мальтийский крест с вашим именем в истории неразлучен.

— Самое большое зеркало! — не дослушав, вскричал Павел и захлопал в ладоши, подбегая к простенку между двумя кариаидами. — И оно вылито на моем стекольном заводе.

Прошли галерею, в подражание знаменитой лоджии Рафаэля расписанную по стенам арабесками Пьетро Скотти<sup>43</sup> и великолепными фигурами Виги<sup>44</sup>. Дальше через широкие и высокие двери из зеркальных стекол вошли в галерею Лаокоона. На минуту Павел задержался перед запрокинутой головой страдальца и, тихо вздохнув, вымолвил:

— Какова, однако, сила искусства? Изображено страдание величайшее, а нам на него смотреть — не скорбь, а блаженство. Когда б кто так в живой жизни устроил?

Бренна придворно вытянулся и доложил:

— Осмелюсь указать, что сей Лаокоон скопирован в Риме с антика, высечен из единой глыбы мрамора, без пятен и жилок...

— Я совсем не о том, — прервал его Павел и, захохотав неприятным отрывистым смехом, пробежал дальше, вдруг остановился и сказал тоном приказа Бренне:

— Еще раз осмотреть все места, неблагополучные по сырости, и представить на рассмотрение мне. Только прошу не повторять заодно с лекарями, — он сердито обвел глазами Александра и Палена, словно они только и делали, что повторяли неприятные ему вещи, — не повторять, что в этом здании большой вред для здоровья. Здесь я родился — в Летнем дворце, здесь я хочу умереть — в Михайловском замке. Однако не сейчас еще...

Павел опять неприятно засмеялся и, обращаясь к Александру, сказал:

— Заинтересован посмотреть: какую это любопытную статую себе выписал из Рима ваш брат Константин?

Александр, сразу съездившись, тихо ответил:

— Я ее не видал еще, ваше величество.

Бренна сделал знак Росси следовать за государем, а сам пошел навстречу появившемуся в глубине апартаментов кастеляну Брызгалову и о чем-то стал с ним говорить.

Павел в комнате цесаревича долго рассматривал прекрасную мраморную копию гермафродита. Он все сильнее краснел, потом сердито зафыркал и закричал:

— Непристойность. Убрать. Разбить молотками...

— Ваше величество, — сказал Росси, — это высокое произведение искусства, а не непристойность, и мысль его философски возвышенна.

Павел подбежал к Росси, бешено глянул в его красивое лицо, но, встретив ясность взгляда, вдруг остыл и спросил больше с любопытством, чем с гневом:

— Крайне заинтригован, сударь, узнать сию возвышенную идею муже-женского кумира.

— Это произведение вдохновлено известным мифом Платона о том, что первоначально человек был и мужчина и женщина в одном образе и едином теле. Будучи рассечены надвое, став раздельными, одинокими, мужское и женское начала жадно ищут утраченное ими восполнение. Чаще всего при встрече они ошибаются, отчего и проистекают все горести и неудачи любви. Но если произойдет великая удачная встреча, она принесет и великое счастье. Эта скульптура — копия из виллы Боргезе. В изящных формах, взятых от обоих полов, она есть попытка восстановления первоначального, в себе самом законченного человека.

— Чудесно! — воскликнул восхищенный Павел. — Гермафродит нашел себе прекрасного адвоката, а мне преподан прекрасный урок. Но почему, сударь мой, некие прочие, — он насмешливо поглядел в сторону Александра, — или молчат, или спешат соглашаться с моим часто неправильным суждением?

И Павел, всем поклонившись, прошел было в свою спальню, но быстро обернулся, как это у него теперь вошло в привычку, и, заметив, что Пален что-то говорил Александру, резко приказал:

— Граф Пален, за мной. Наследнику успеете передать ваши новости.

Пален почтительно склонил голову, чтобы скрыть невольную бледность. У него в кармане, на листке толстой негибающейся бумаги, были написаны имена заговорщиков. И он только что сказал Александру, что пробил час поставить ему там свое имя — первым.

<...>

Несмотря на постоянный огонь в двух огромных каминах, плесень, разрушающая живопись, уже прозмеилась повсюду, искажая и уродуя картины. Прошли дальше, в покои императрицы, которая сейчас отсутствовала, а ее дежурные фрейлины пожаловались, что не могут согреться, несмотря на отличные березовые дрова в камине.

В комнатах Марии Федоровны стены были обшиты деревом, и сырость, скрытая обивкой, не успела еще испортить чудесных ковров бледно-голубого фона с видами Павловска. В нише стены белела мраморная копия с Бернини<sup>45</sup> — Аполлон и Дафна. Роскошные двери вели в кабинет, чрезмерно украшенный и тяжелый. Зато парадная спальня, которая за ним следовала, при всей роскоши была воздушна и словно расположена прямо под вечно голубым небесным сводом. Эту иллюзию делал бархатный балдахин с богатой позолоченной резьбой, высоко поднятый над кроватью. Дополняла впечатление легкости стройность коринфских колонн, разделенных диванами, тоже голубыми. Все это богатство много раз было отражено зеркалами.

Тронный зал императрицы был меньше, чем у Павла, с богатым камином, украшенным барельефами девяти муз, а к трону вела всего одна ступень. Рядом с тронным залом была расположена галерея Рафаэля с чудесными коврами — копиями знаменитых ватиканских картин. Средняя плафонная картина изображала храм Минервы. На ступенях храма восседали свободные искусства, и лицо грека, изображавшего зодчество, было списано с архитектора Бренны, чем последний очень гордился. Его прославили в городе как человека, очень нажившегося на постройке замка, который и построен-то им по чужому, Баженовскому плану. И это свое изображение во дворце на плафоне покоев самой императрицы Бренна воспринимал как высокую аттестацию его добродетели, закрывающую рот всякому злословию.

<...>

Галерея Рафаэля вела в залу с прекрасной античной статуей Вакха и Дианы Гудона<sup>46</sup>.

Здесь кончались парадные императрицыны покои. Последняя зала соприкасалась с караульной комнатой, где всегда на часах стоял взвод. С плафона кисти бездарного Смуглевича — того самого, который написал неприличных демонов, — наподобие брошенного мешка, без выражения доблестной жертвенности, свергался в пропасть Курций<sup>47</sup>.

<...>

Пален вслед за государем прошел через Рафаэлевую галерею в его апартаменты. Прихожая расписана была отличными картинами Ван-Лоо<sup>48</sup>, темой которым послужили легенды из жизни св. Григория. Во второй метнулся в глаза потолок, плафон работы Тьеполо<sup>49</sup>,



где Антоний и Клеопатра восседали в смешных, им не современных костюмах. Третья комната — библиотека Павла. Здесь были шесть шкафов красного дерева, на которых стояли красивые вазы из порфира. В этой комнате всегда дежурили лейб- и камергусары. Отсюда боковая дверь вела в кухню, и кухарка-немка готовила исключительно для государева стола. Павел сильнее всего опасался отравы.

Другая дверь вела в маленькую комнату, предназначавшуюся для постоянной стражи и соприкасавшуюся с витой лестницей. Она шла во двор, где стоял один часовой. По ней же Павел мог приходить никем не замеченный в апартаменты Гагариной, которые располагались прямо под его кабинетом.

В спальне императора стены тоже были обложены деревом и выкрашены в белый цвет. Посредине стояла его малая походная кровать, без занавесок, с простыми ширмами. Над кроватью ангел-хранитель Гвидо Рени<sup>50</sup>. В углу портрет рыцаря-знаменосца кисти Жана Ледюка<sup>51</sup>. Рыцарем этим очень дорожил Павел: он считал его своим особым защитником.

Письменный стол императора был замечателен: он стоял на ионических колонках из слоновой кости с бронзовыми цоколями и капителями. Решетка, тоже из слоновой кости, самой тонкой работы, украшенная маленькими вазами, была выточена Марией Федоровной.

Великолепный ковер покрывал пол. В комнате были две двери, скрытые занавесью: одна дверь была в уборную, другую запирался шкаф, в который прятались шпаги арестованных офицеров. Двойные же двери, которые комнату императора отделяли от комнаты императрицы, были закрыты задвижкой и заперты ключом по приказу Павла, вдруг ставшего опасаться жены под влиянием злых наговоров графа Палена. Стена была очень толста — императрица не могла бы услышать ни шума, ни криков из комнаты императора.

Павел показал графу Палену все свои картины, особенно остановился на рыцаре-знаменосце Ледюка.

— Этот рыцарь, — сказал он, — мой хранитель, больше скажу вам, дорогой Пален, — он мой советник. Сам крестоносец, он вдохновил меня на великую идею негласного крестового похода на восставшие темные силы.

Лицо Павла было смешно и вдохновенно. Он поднял голову, высоко поставленные надбровные дуги поднялись еще выше, крошечный носик опрокинулся вместе с ними, показав две открытые трепетные ноздри и очень большие голубые сияющие глаза. Они

одни были живыми и человечески полными чувства на этом странном лице, похожем на маску.

— Осмелюсь спросить, — осторожным, ласковым дядькою, привыкшим руководить озорным питомцем, сказал тихо Пален, — о каком негласном крестовом походе ваша речь?

— О походе на Индию! — воскликнул Павел, подходя к рыцарю. — Не правда ли, мой покровитель? — Он быстро обернулся к Палену. Тот стоял, высокий, доброжелательный, с такой добродушно-откровенной улыбкой на большом, отчетливо вылепленном лице, что Павел, как всегда у него бывало, когда он оставался наедине с этим крупным человеком, источавшим здоровье, поверил ему, успокоился и доверчиво рассказал:

— Я, как помазанник божий, обязан охранить мой народ. То, что кажется профанам сумасбродством и моей капризной прихотью, — есть веление свыше. Пока я знал, что божий перст почиет на Англии, ибо она была против мятежной Франции, я, как вам известно, отправил войска свои в итальянский поход. Но сейчас высшей силе добра служит Франция, и я готов поразить в Индии англичан.

Пален призвал на помощь всю свою придворную выдержку и еще тише, спокойнее и добрее сказал:

— Смею спросить, ваше величество, что же является руководящим, так сказать, указующим вам сию истину перстом?

— Остров Мальта! — воскликнул Павел. — Сейчас его захватили, как разбойники, англичане и, как разбойники, не хотят возвращать его мне, гроссмейстеру! — с невыразимым величием и уважением к этому титулу поднял он к рыцарю правую руку, как бы его беря в свидетели. — А первый консул... — он прошептал Палену, как великую тайну: — На самом деле это великий монарх, это душа великого монарха в нарочитой оболочке; дабы не узнали профаны. Первый консул мне предлагает вернуть святой остров обратно. И против силы тьмы мы сейчас с ним едины.

Пален, удерживая с усилием прежнее выражение на лице, еще нагнул голову, как бы благоговейно принимая доверие, оказанное ему императором, а сам зло и жестко подумал: кончать с ним немедленно... обработали иезуиты.

— Но это высказанное вам обоснование моих действий между нами, не правда, ли, Пален? Подчиненные не имеют права, как в святилище, проникать в душу монарха. Им слово помазанника — закон. Так, Пален?

— Ваше величество... — низко склонился всей грузной фигурой Пален.

— Ах, как мне здесь хорошо, как весело! — Внезапно Павел легко, по-мальчишески пробежался вдоль стены и стал близко к Палену. — Я здесь наконец себя чувствую дома. Я охранен. Я принадлежу сам себе. Здесь я с удвоенной ревностью хочу заняться благосостоянием моего народа. Что нового принесли вы сегодня мне, Пален?

И вдруг ловко и быстро, как обезьяна, Павел, чуть приподнявшись на носки, запустил свою руку в карман Палена.

Пален страшно побледнел, в один миг своей рукой отодвинул небольшую ладонь императора и, прикрыв несгибающийся листок бумаги, захохотал так заразительно искренно, что, еще не поняв, в чем дело, не вынимая руки из кармана Палена, государь ответил ему отраженным смехом.

— Махорка! — все еще захлебываясь смехом, наконец выговорил Пален.

Смеясь, он таким взглядом смотрел в голубые глаза государя, как будто через их голубизну вторгнулся в несчастную его голову, и, по своей воле переместив его мысли, воскликнул еще и еще:

— Махорка в этом кармане, махорка! Ведь я нюхаю, а вы этого запаха не выносите, ваше величество... ха-ха...

Павел вытащил руку, отряхнул ее, вытер платком, смеясь, поплевал, говоря:

— Что за свинство... махорка!

И, как всякий человек, после веселого беспричинного смеха испытывая облегчение душевного груза, благодарно сказал:

— Ну и насмешили меня. А теперь идите к Александру, его тоже полезно посмешить. Что-то не по возрасту мрачны мои сыновья.

Апартаменты Александра были просты, исключая приемных: большой зал, разделенный надвое аркой на ионических колоннах белого мрамора, был украшен великолепными картинами, из коих одна — кисти Рубенса. Зал вел в тронную великого князя. Здесь стены, обтянутые пурпурным бархатом, были затканы серебром, на ковре, не приподнятом ступеньками от прочего пола, стоял трон. Часто, стоя под балдахином, Александр давал аудиенции.

Сейчас Александр сидел на диване в своем кабинете и упорно смотрел в камин. Дрова пылали, а ему было холодно. Вот-вот придет Пален, потребует от имени государства возглавлять заговорщиков...

Как заблудившийся ребенок о любящей матери, он со слезами подумал о Лагарпе, добром и умном учителе юности. Был бы здесь, вот кто б помог.

А что недавно сделал батюшка на смех всей Европе с этим Лагарпом? «За неистовое и разнузданное поведение отнять орден Владимира» — глупейший приказ, и такое же поручение Корсакову — схватить Лагарпа с фельдъегерем и привезти в Петербург для отправки в Сибирь. За что, спрашивается? За то, что во время суворовского похода Лагарп находился во главе швейцарского правительства, по мнению батюшки — мятежного. А то позабыл отец, что навеки должен быть благодарен сему Лагарпу. Он был единственным человеком, который пытался возвысить отца во мнении сыновей. И честный Лагарп отказался от участия в замыслах бабушки лишить отца трона. Вот благодарность его...

Александр взволновался, вышел из кабинета, стал ходить по мягкому ковру тронного зала. Это его несколько успокоило, показалось — гуляет по скошенному селу на цветочном лугу. Даже захотел позабавиться, на минуту стал под балдахин, огляделся вокруг, вообразил себя вдруг весьма далеко, на лоне каких-то светлых вод, и улыбнулся желанной свободе.

Доложили о Палене, Александр помертвел, велел провести в кабинет, куда прошел снова сам.

— Необходимо, чтобы ваше высочество прочли вот это, — сказал Пален, подав перлюстрированное письмо Семена Романовича Воронцова<sup>52</sup> к Новосильцеву<sup>53</sup>. — Я бы должен по долгу службы передать его государю, но... передаю вам.

Александр взял молча письмо, стал читать, скоро пальцы его задрожали: письмо было некоей прозрачной аллегорией.

«У меня нет надежд в настоящем, — писал приятелю Воронцов, — я уповаю на утешение в будущем. Наша жизнь то же самое, как ежели бы мы с вами очутились на корабле, капитан и весь экипаж которого принадлежали бы к народу, языка которого мы не понимаем. Поднялась страшная буря, и вдруг капитан сошел с ума и по капризу своему бросает за борт одного за другим матросов. Скоро все мы будем погублены этим сумасшедшим, который вместе с нами погубит и весь драгоценный груз корабля. Одна надежда на спасение, если молодой помощник капитана, к которому весь экипаж преисполнен доверия, возьмется за руль. Его нам о том надлежит заклинать».

Александр понял, залился краской, все затрепетало внутри, а Пален, как бы пригвождая к месту своими круглыми властными глазами, сказал:

— Каких же еще доказательств вам надо, чтобы поверить, сколь для всех тягостно государством несомое бремя?

Александр попытался робко спастись возражением:

— Придворных кучка в сравнении с народом. А народ...

— Народ, — прервал Пален, — но разве вашему высочеству не известно, что двенадцатого января отдан приказ о выступлении в Индию донским казакам? Двадцати двум тысячам человек приказано делать тридцать — сорок верст в день. Что они терпят, вы задумались? Морозы, метели, страшные лишения... крайне плохое состояние дорог. А надо протащить с собой единороги и пушки... Экспедиция задумана, как всё у нас, — вдруг, без того, чтобы собрать необходимые сведения о средствах тех стран, через кои будут следовать казаки. Без заготовки продовольствия, обоза, лазаретов, даже, как я узнал от самого императора, — без маршрутов. Наконец, вашему высочеству уже известно, что беспримерное мужество нашего итальянского похода оказалось на руку только австрийцам, — он тоже по капризу был начат и оборван... и только благодаря гению Суворова мы спасены от позора. А что ожидает донских казаков за Оренбургом? Ведь они двинуты с женами и детьми... на верную смерть.

Пален прошелся и, став против Александра, твердо сказал:

— Секретная экспедиция в Индию, быть может, нужна, но предпринята безумно, без апробации Наполеона. Объявить себе войну, как это решил вскорости сделать император, Англия едва ли дозволит. Сотрудников явных и тайных у нее при русском дворе много, а врагов смертельных у нашего государя столько же. Предлагаю вам сделать выводы. Если вы не поспешите сами спасти вашего родителя, а нашего государя... — Голос Палена дрогнул. Он волновался и волнения своего здесь не скрывал. — Ваше высочество, поспешите согласиём. Ведь не о каком-либо ущербе или о лишении августейшей жизни идет речь — совсем наоборот. Речь идет о том, чтобы заболевшему некоторым расстройством мысли императору дать возможность восстановить свои силы. А пока он болен — отречься от полноты власти, сделать вас соправителем. Вот о чем молит вас вся страна — пресеките возможность заболевшему государю совершать великое зло собственной стране.

Прирожденная уклончивость характера Александра, еще усиленная воспитанием, делала для него невозможным сказать решающее слово. И Александр повел себя так, как будто весь акт отречения уже позади, а перед ним одна лишь задача: как можно удобнее устроить сейчас жизнь отца.

— Я предоставлю государю им любимый Михайловский замок, — с той вынужденной скромной улыбкой, которая почему-то считалась пленительной, сказал Александр. — Верховые прогулки батюшке всего лучше будет продолжать в так называемом Третьем летнем саду, не правда ли?..

Он глянул на Палена и оборвал сконфуженно речь. Пален глядел на него холодно, с затаенным презрением:

— Если ваше высочество мечтает о пребывании августейшего отца вашего в замке уже после подписанного им отречения, то на выполнение сего необходимого акта, полагать надо, ваша подпись мною будет получена.

Пален вынул из кармана тот самый листок крепкой, негнущейся бумаги, который чуть было не вытащил у него Павел, и протянул Александру.

Как от ядовитой змеи, Александр отбежал скорым шагом к камину... Вернулся опять, хотел что-то сказать и не мог.

Пален чуть склонился, держа в руках свой листок, — строгий, сжав губы, ждал.

Александр, дрожащий, теряющий остатки самообладания, вымолвил шепотом:

— Умоляю вас, завтра. Я завтра отвечу.

— Последний срок, ваше высочество, — сурово уронил Пален, отправляя листок в карман. — Хуже будет и государю и вам со всем вашим семейством, если нас предварят более решительные заговорщики.

Он холодно поклонился и вышел.

Александр, зарыдав как ребенок, упал на диван.

Как Павлом было назначено, второго февраля был дан в Михайловском замке бал для дворянства и купечества. Два унтер-офицера пропускали в овальную гостиную. Свод этой гостиной покоился на кариатидах, промежутки занимали аллегорические барельефы. Мебель здесь была огненного бархата, отделана серебром. Плафон работы чудесного Виги изображал такое великолепие Олимпа с собранием всех богов, что казался лучезарным источником света по сравнению с погребальным освещением замка.

Тысячи восковых свечей, зажженных в канделябрах и люстрах, не могли рассеять туман, который клубился вдоль оттаявших стен и создавал полумрак, делавший однообразной всю роскошь нарядов.

Несмотря на бравурно гремевшую музыку, этот все растущий туман и погребальные свечи производили на безмолвно толпившиеся маски удручающее впечатление.

Лихо плясали только молодые чиновницы, счастливые уже тем, что попали в роскошный замок.

Павел, мрачный, свирепо оглядев маскированных большими глазами, удалился, сильно топая, в свои защищенные комнаты очень рано.

Пален разыскал Александра в галерее Лаокоона. Прошли несколько шагов рядом. Для присутствующих ничего удивительного не было в том, что военный губернатор граф фон дер Пален беседует с наследником. Возможно, он передает ему что-либо от государя.

Не дрогнув своим придворным, вельможным лицом, не понижая голоса и без особого выражения, Пален сказал:

— Сегодня, в сильном гневе, его величеством было произнесено следующее: «Скоро многие мне некогда близкие головы должны будут пасть».

Чуть повернувшись более к Александру и равняясь шагом по его внезапно замедленному шагу, Пален спросил:

— Могу ли возглавить нас вашим именем?

Боясь себя самого, Александр вымолвил:

— Можете.

### *Глава пятнадцатая*

Павел сидел в своем кабинете и читал историю великого прадеда.

Все эти дни его особенно волновали отношения Петра к Алексею. Больше того, Павлу казалось, что по прямой линии, как правнуку от прадеда, к нему прямо в сердце идет от Петра сила, которая двинет в урочный час и его руку написать сыновьям заслуженный ими приговор. Вот только Пален представит обещанные неоспоримые доказательства...

Павел был уверен, что после распущенного правления матушки и следствия его — великого всероссийского казнокрадства, глубокой развращенности нравов — дальнейшее процветание России возможно лишь при неуклонном выполнении введенного им строжайшего гатчинского порядка. И горестно было сознать, что достойного преемника ему не было. Хуже того, наследник по праву и крови злоумышлял на отца.

Лживый Александр, расслабленный, изнеженный бабкой, глубоко заражен вольнодумием своего бывшего воспитателя

Лагарпа. И сколь он ни скрытен, когда был им узнан приказ генералу Корсакову сего женевского возмутителя с фельдъегерем привезти в Россию, дабы водворить навечно в Сибирь, — он весьма опечалился. Заодно с Константином был против отца, на стороне Лагарпа. И донесли — оба сына поносили ядовито и с издевкой его праведный суд.

Павел вскочил, пробежал из спальни в библиотеку. Рука сама собой вытащила заветную книгу о Фридрихе. Как девица идет за советом к оракулу и «толкователю снов», так и он прибегал во всех случаях жизни к своему кумиру и властителю дум. И хотя знал отлично то место в биографии Фридриха, которое сейчас ему было нужно, он для поддержки перечел его еще раз.

Это было известное событие в жизни Фридриха, еще наследного принца, которое чуть не привело его по приговору отца на плаху. И только заступничество австрийского и прочих дворов и, главное, торжественно обнаженные груди высоких военных, взамен принца предложивших пронзить их сердца, смягчили уже произнесенный, но не обнародованный приговор. Отец Фридриха удовлетворился, однако, тем, что вместо сына приказал казнить его ближайшего друга, юношу фон Катте, который согласился с ним вместе убежать в Англию от ига короля-отца. Катте был обезглавлен под окнами Фридриха, которого принудили смотреть на казнь близкого друга, пока он не лишился чувств.

«Пусть лучше будет принесена эта кровавая жертва, нежели хоть один закон нашей страны потерпит поругание» — так сказал король-отец, подписывая смертный приговор молодому фон Катте, и слова его великий Фридрих впоследствии одобрил.

— Да подкрепят мой дух мужественные примеры доблестных людей! — воскликнул Павел, ставя на прежнее место книгу.

Он вернулся к себе в кабинет, но заниматься делами не мог. Надо было сейчас, сию минуту что-то предпринять относительно Александра... Но он вдруг забыл, что именно. Отметил горестно, что все чаще проваливается вдруг его память на полумысли, на полуслове.

— Ничего, — ободрил он сам себя, — здесь все силы ко мне вернутся, только никуда из Михайловского замка, ни шагу. Разве что верхом в Третий летний сад. Теперь и к Аннушке Гагариной тут же, по витой лестнице, под собственный кабинет, этажом ниже. Перехитрил заговорщиков — переехал, сколь ни чинили препятствий. Недостроено, сыро, — а на что камин? Пылают денно и ночью. А ежели у великой княгини, Александровой супруги, от сырости мигрень? Ну что же — потерпите, мадам...



Павел сделал насмешливый поклон в пустое пространство и вдруг вспомнил то, что только что позабыл. Усиленно забилося сердце. Проверять надо наследника Александра — вот что он позабыл. Лицемерию выучился у бабки, под внешней покорностью скрывать свои планы. Удалось бы ей в свое время незаконно взойти на престол, если бы она не была величайшим мастером лицемерия. Проверять Александра надо внезапно, когда он того не ожидает, как птицу хватать на лету...

И Павел, торопливо спустясь вниз по лестнице, пробежал анфиладу комнат и без доклада вошел к Александру в кабинет. Стремительно подбежал к нему, испытующе глянул в глаза:

— Чем, сударь, заняты?

Александр ужасно смутился. Ну так, словно отец поймал его на месте преступления. Он ничем не занимался. Он часами теперь сидел так и смотрел в одну точку, когда его не видел никто. Граф Пален словно взял его, как маленького, за руку, насильно перевел через шаткий мосток над бурной рекой. И мост рухнул, и назад уж нельзя. А под ногами разверзлась пропасть, двинешься — упадешь. И всего лучше было ему ни о чем не думать, а недвижно сидеть; чуть дышать, почти умереть.

— Чем сейчас были заняты? — повторил грозно Павел и обжегал глазами комнату.

— Я, батюшка, так сидел, — проговорил угасшим голосом Александр.

— Подходящее занятие для наследника престола, — рванул резко Павел и вдруг заметил на письменном столе отодвинутую вглубь раскрытую книгу. Перед ней, как бы заслоняя ее, стоял глобус.

— Наскоро поставили, заслонить? — ехидно спросил Павел. — А ну-ка посмотрим, что вы изволили, сударь, читать?

Павел схватил раскрытую книгу, пробежал быстро глазами, покраснел, запыхтел. Александр, вытянувшийся как на смотре, побледнел при этих ему известных угрожающих признаках гнева отца.

— Вы, сударь, отодвинули и заставили глобусом книгу, дабы я не заметил, что именно вам было угодно читать.

— Я ничего не читал... — пробормотал Александр.

— Ложь! — крикнул Павел. — Вот он, восхваляющий убийство Цезаря стих Вольтера, ваша книга была раскрыта как раз на нем. Вы, сударь, поглощали Брута.

И Павел продекламировал по правилам французской трагедии, с подчеркнута ироническим оттенком голоса:

— Rome est libre. Il suffit. Rendons graces aux deux!\*<sup>55</sup>

Да за одно это чтение вы достойны... — Павел махнул рукой, побежал к двери, остановился, бросил на пол оставшуюся в его руках книгу, от ярости понизив голос, сказал: — Но прежде всего вы с вашим братом будете вторично приведены к присяге верности вашему императору генерал-прокурором Обольяниновым.

Павел ушел. Александр, медленно подняв книгу, положил, ее снова на стол и, сев на прежнее место, застыл без мысли, без чувства.

Очень скоро доложили ему приход одного из государевых адъютантов, того самого, который послан был к Суворову возвестить ему запрет приезжать в Михайловский замок.

Ничтожный придворный человек, с незапоминаемым мелким лицом, сказал фальшивым голосом царедворца, которому лестно нанести безнаказанно царскому сыну удар:

— Его величество присылает вашему высочеству для справки жизнеописание Петра Великого, с нарочитым назиданием прочесть страницы, посвященные последним его приказам относительно судьбы его наследника.

Александр машинально взял из рук адъютанта большую книгу, кивком головы отпустил его и прочел выразительные строки о присуждении к смертной казни царевича Алексея.

Слезы брызнули из его глаз. На красивом лице проступила обиженная растерянность. Не вытирая слез, измученный, он прошептал:

— И некуда мне убежать.

Вечером в Михайловском замке был французский концерт. Все ощущали большую тревогу: зачем это пение, зачем бриллианты мадам Шевалье, когда вот-вот грянут события...

Уже пошли в городе шепоты о предрешенном аресте обоих великих князей. Вызывали в памяти кровавый конец отца Павлова, и во главе заговорщиков называли сыновей тех, кто убил Петра Третьего. Неужели опять повторение?

Император сидел на концерте сумрачный и не обращал внимания на пение своей любимицы Шевалье, о которой еще недавно поговаривали — она-де заступить должна место Гагариной.

Перед выходом к вечернему столу император надумал какое-то сценическое появление, особое воздействие своей персоной, как во французских криминальных драмах, дабы уличить

---

\* Рим свободен. Довольно. Возблагодарим богов! (фр.).

нежданно преступников. Распахнулись обе половинки дверей, и он, уже некоторое время ожидаемый, подошел к императрице, скрестив на груди руки. Посмотрел, помолчал, многозначительно улыбнулся. То же проделал, подойдя по очереди к обоим сыновьям. Было смешно и грозно, словно плохой актер, не разрешившийся словами, одной мимикой выразил угрожающий приговор.

Павел спешно протопал первый в столовую и сел за стол. На ужине, как на панихиде, царило гробовое молчание, а когда Мария Федоровна с великими князьями подошла, как обычно, его благодарить, Павел отскочил от них, замахал рукой, ушел, не поклонившись, к себе. Императрица заплакала.

Граф фон дер Пален неослабно следил за настроением Павла и решил, что сейчас ни на минуту нельзя выпускать его из рук, пока не свершится задуманное немногими, ожидаемое всеми пресечение его безумной власти. По должности главного почтдиректора Палену было уже известно, что Павлом выписан из своей деревни Аракчеев. Времени для полной и бесконтрольной власти оставалось немного, завтрашний день грозил ссылкой, Сибирью, быть может, казнью. О заговоре открыто говорил уже город. И вот начался поединок между царем и царедворцем.

Пален, высокий, сильный, дышащий здоровьем, полный неизменной доброжелательности, несколько грубоватой, но тем более внушающей доверие, одним своим физическим видом умел, как лекарством, усыпить больные нервы Павла. Не веря Палену, боясь его, он все-таки с ним отдыхал.

План военного петербургского губернатора графа Палена был таков: утомлять государя непрерывно делами так, чтобы ничье живое влияние не прослоило того исключительного волевого обхвата всей психики Павла, который ему удалось создать. Так продержат Павла надо до вечера, до конца. Да, вечером — конец. Дальше откладывать нельзя и минуты.

Совсем на днях Павел, получивший еще один донос с перечислением заговорщиков, хвастливо почитая себя на высоте прокурорского гения, внезапно спросил Палена, пришедшего с очередным докладом:

— Вам известно, что против меня существует заговор?

И Пален ответил со своей улыбкой, убаюкивающей все сомнения:

— Почти во всех подробностях, ваше величество, потому что я сам этот заговор возглавляю. Наилучший способ держать в своих руках все нити...

Пален сказал правду, но так она была ошеломительна, что усыпила настороженность и оживила обычное самомнение Павла. Он небрежно приказал:

— Дознавайтесь скорей и докладывайте.

Сам же хитро подумал: «А как про всех доложит, его первого под арест. Разберу дело не с ним, с Аракчевым».

Опять в памяти Павла случился провал: вызов, посланный Аракчеву, мог достичь своей цели, если б у Палена власть была отнята. Но Павел отнять эту власть позабыл, и человек, которому подчинена была вся полиция, тайная и явная, на одной из застав приказал задержать поспешившего на спасение царя Аракчева.

Кто еще может быть опасен заговорщикам? Разрешено иезуита Грубера впускать во все часы дня и ночи. Иезуит — клевет первого консула. Кто знает, какие у него могут явиться проекты для охранения силы, сейчас готовой служить замыслам его хозяина против Англии?

И Пален патера Грубера очень хитро не пустил. Любезнейше попросил его повременить, пока не будут государем подписаны дела первой важности. Большого хитреца перехитрил набольший. Грубер доверился приветливо почтительному Палену и с терпением ждал.

Когда Павел, не выносивший долго усидчивой работы, спросил Палена, который с расчетом на это качество государя завалил его подписью бесконечных бумаг: «Ну, еще что... еще что?» — Пален с сокрушенным сочувствием вымолвил:

— А еще патер Грубер ждет с толстой тетрадью собственных мыслей о необходимости соединения церквей.

Расчет Палена, как всегда, попал в точку. Утомленный Павел воскликнул:

— Послать патера к черту с церквями и тетрадями.

Павел ездил кататься верхом в Третьем летнем саду, потом долго разговаривал с Коцебу<sup>56</sup>, недавно возвращенным из ссылки. Это входило в план: занятия невинные, развлекательные, не таящие в себе угрозы возникновения опасных заговорщикам мыслей. Павел поручил Коцебу описание любимого своего замка, очень интересовался, как подвигается работа. Развеселился, проходя мимо статуи Клеопатры. Высказал предположение, что египетская очаровательница потерпела неудачу у Августа единственно оттого, что красота ее несколько перезрела. Между тем, оболести она Августа, не понадобились бы ей общеизвестные нильские змейки, чтобы самовольно пресечь свои дни.

К своему письменному столу Павел подошел радостно возбужденный. Глянул на картину Ледюка, изображавшую рыцаря, которого почитал своим охранителем, как обычно, кивнул ему головой, словно живому, и с лукавой усмешкой вытащил из ящика копию своего послания всем правителям европейских государств о вызове их на рыцарский турнир. Внезапно нахмурился и сел писать приказ на имя барона Криденера, посланника в Пруссии, с требованием объявить прусскому королю предписание занять Ганновер.

Краска выступила на бледных щеках Павла. Промелькнуло в голове, что прусский король может его послушаться. И он гневно приписал в конце приказа Криденеру: «Если король не займет Ганновер, вы обязаны в 24 часа оставить его двор». От того, что он написал, гнев его еще возрос. Перед его воображением встал уже чей-то сговор, сопротивление. Он не доверял своему прусскому послу. Он схватил другую бумагу и написал Колычеву в Париж с повелением самому Наполеону передать его предложение вступить в курфюршество ганноверское ввиду нерешительности берлинского двора.

Велел позвать Палена. Все сильнее не веря ему, боясь его, Павел тем не менее через него отправил обе только что написанные бумаги.

В послании к Криденеру Пален осмелился приписать от себя: «Государь очень болен... скоро это будет иметь свои последствия».

Пален шел на крайний риск: или сегодня ночью, или никогда.

Дальнейшие события развернулись так, что оставили в истории еще одно доказательство победы сильной воли, знающей свою цель, над характером, подчиненным мимолетным капризам и чувствам, характером, не умеющим не только защитить свою жизнь, но, словно в угоду твердо начерченному плану врага, как бы усерднее всех исполнявшим его предначертания.

Павел грозно объявил сыновьям домашний арест, чем снял с Александра невыносимые укоры его легко раздражимой совести, так что генералу Уварову, приставленному Паленом к наследнику, дабы тот не предпринял каких-либо опасных для заговорщиков шагов в порыве раскаяния в данном им слове, не пришлось прибегать к защитительным мерам. Уваров только вторил Александру в его розовых грезах относительно той удобной, безответственной жизни, которую надо будет теперь устроить больному, отошедшему добровольно от власти императору.

Уваров охотно и многократно повторял Александру клятву, данную ему Паленом, что, конечно, жизнь Павла для всех священна

и никакого урона его здоровью нанесено быть не может. Александр охотно верил и быстро успокаивался, избегая смотреть в точные, исполнительные глаза Уварова, словно боясь в них прочесть насмешку и осуждение.

И Александр в глаза Уварова не смотрел и ненужных вопросов ему не предлагал. Он хотел, как всегда, не истины, а только покоя.

Оставалось еще последнее препятствие, которого Пален имел основания, как он сам впоследствии говорил, опасаться более всех: полковник Саблуков, командир эскадрона, должен был выставить караул в ночь на двенадцатое марта в Михайловский замок. Этот несокрушимый человек был верен присяге и Павлу.

Пален поручил генералу Уварову устранить и его. И точный, спокойный Уваров этого добился легко. Он только шепнул Павлу, что молва идет об эскадроне Саблукова, будто все они — якобинцы. И за три часа до своей гибели Павел своей волей удалил последнюю свою защиту — беззаветно преданного Саблукова.

Впрочем, воли своей у Павла уже не было, он лишь отдавал распоряжения, повинаясь воле чужой. Сознание Павла было как прозрачная среда, через которую, не задерживаясь, проходил луч твердого, определенного руководства.

И вместе с тем чувствительность его была обострена до предела, переходила порой в ясновидение. В последний вечер своей жизни он был как-то причудливо весел, о чем, вспоминая горький опыт пережитого, вдруг сам сказал:

— Сей род веселости у меня всегда бывает перед особо большой печалью.

Он любезно шутил со всеми, кто был за ужином; наследнику, хотя тот и был под домашним арестом, вдруг многозначительно сказал слова, как того вовсе не требовало вызвавшее их маловажное событие. Наследник чихнул, а Павел привстал, изысканно ему поклонился и произнес с подчеркиванием:

— Исполнение всех ваших желаний.

Уходя же к себе после ужина, сделал две вещи, которые, будучи очевидцами рассказаны своим знакомым, облетели город, занесены были в дневники современников и вошли в историю.

Павел подошел к зеркалу, рассмеявшись своим хриплым, отрывистым смехом, сказал:

— Как странно, я вижу себя со свернутой шеей!

И затем, уже уходя к себе в спальню, остановился у дверей, ни к кому не обращаясь, произнес, как фаталист-мусульманин:

— Чему быть — того не миновать.

Около одиннадцати часов вечера заговорщики собрались в квартире Талызина, командира Преображенского полка. Много было выпито, все готовились к важному делу, но в чем именно оно будет состоять, знали очень немногие. В половине двенадцатого появился Пален. Еще потребовалось шампанское. Подняв бокал, Пален скромным, но твердым голосом сказал свои решающие слова:

— Поздравляю с новым государем.

Еще ничего с Павлом не было окончательно решено. Он еще царствовал. Все мосты подъемные были подняты. Все караулы на месте. А хитроумный Пален заставил присутствующих выпить с ним вместе за здоровье государя нового, чем как бы перевел по ту сторону дела, уже свершившегося. Коварный знаток слабых сердец, он сделал и с собранными офицерами то, что ему уже удалось сделать с Александром. Он в их мыслях переставил в уже прошедшее то, что им еще только свершить надлежало. Он освободил слабых от выбора, этого тяжкого бремени сильных людей, и крикнул, как на подчиненных:

— Стройтесь в две колонны! Разделяйтесь — кто пойдет со мной, кто с князем Платоном Зубовым!

Никто не трогался с места. И тут не хотели брать на себя ответственность. К тому же все были нетрезвы.

— По-ни-маю, — протянул несколько презрительно Пален. И до конца принял решение на себя одного. Он брал офицеров, как детей, за руку и отводил одного вправо, другого влево. Сказал Платону Зубову:

— Вот эти — с вами. Прочие со мной. В Михайловский замок, господа!

Войдя во дворец, Пален передал, тоже ганноверцу, генералу Беннигсену, крепкому, хладнокровному человеку, главенство над своей половиной и направился в покой императрицы. Вошел к дежурной статс-даме и стал ей рассказывать обстоятельно, что сейчас происходит на половине государя.

В качестве плац-адъютанта заговорщик Аргамаков знал отлично все ходы, и выходы, и потайные коридоры, по которым должны были дойти до спальни Павла.

Поднялись по лесенке в маленькую кухню, смежную с прихожей, перед спальней государя. Здесь спал охранитель, камер-гусар, прислонившись головой к печке. Один из офицеров рубанул его саблей, гусар закричал во всю мочь:

— Убивают государя, спасите!

Граф Кутайсов, живший этажом ниже, проснулся от шума и кинулся было на помощь, но, устранившись, стал спасать только себя. Как заяц, стрельнул он из-замка, по дороге теряя свои ночные туфли.

Павел в испуге вскочил. Забыл или побоялся спуститься к Гагариной потайной лестницей. Спрятался в камин и заслонился экраном.

Едва заговорщики гурьбой вошли с шумом в спальню, как на лестнице раздались шаги и бряцание оружия. Все решили, что их сейчас арестуют, и шарахнулись бежать. Генерал Беннигсен, высокий, худой, бледный как призрак, один не был пьян. Он мгновенно представил себе все последствия неудачи и проявил твердую решимость, не зависящую ни от каких неожиданных впечатлений. Пален знал, кому доверить выполнение дела. Беннигсен, обнажив саблю, стал у дверей и кратко сказал:

— Назад уже поздно. Зарублю. Кончайте.

Луна осветила босые ноги Павла. Беннигсен отодвинул от камина экран и, указывая на небольшую фигуру в белом полотняном камзоле и ночном колпаке, произнес по-французски:

— *Le voila!*\*

Беннигсен, не оборачиваясь, вышел в кабинет Павла и сделал вид, что спокойно рассматривает картины, висевшие на стенах. Когда он вернулся, все было кончено. Павел мертвый лежал на полу.

— Благопристойно уложите его на кровать, — приказал Беннигсен и пошел навстречу входившему Палену.

Когда к Александру кто-то из приближенных обратился со словами: «Ваше величество», он понял, что отец его умер, и забился в истерике.

— Вам ведь было известно, — желая сказать мягко, но с плохо скрытой усмешкой сказал Пален, — вам было известно, что исход заговора означал для вас либо престол, либо заточение, если не гибель. Что же так вас теперь убивает?

— Вы мне клялись, что отец будет жив!

— Меня в это время не было в спальне императора, я охранял вашу матушку, — не дрогнув, сказал Пален и с прорвавшейся вдруг властью приказал:

— Довольно ребячиться. Ступайте царствовать. Покажитесь народу.

---

\* Вот он! (фр.).



&lt;...&gt;

В толпе росли слухи, будто Павла придворные отвезли в Шлиссельбург. Люди требовали доказательств его смерти, чтобы присягать Александру.

Наконец облаченное в императорскую мантию тело вознесено было на парадное ложе, близ которого на небольшом столе, покрытом малиновым бархатом, засверкала золотая корона.

Когда все было перенесено флигель-адъютантами в малую тронную залу, народ был допущен для прощания, но без обычного коленопреклонения и молитвенной остановки у тела.

Но хотя проходившие увидели одни лишь подошвы ботфорт и поля широкополой шляпы, надвинутой до бровей... весь город поверил, что государь умер, и шептали друг другу — не своей смертью.

Чрезмерная белизна лица делала Павла похожим на иссеченного из мрамора, а глубокий пролом виска не удалось скрыть и под шляпой.

<...> Ни возмущения, ни гнева против убийц в городе не было. Их имена произносили с каким-то почетом. Они были у всех на виду, на них показывали с благодарностью, как на неких римлян, освободителей отечества. Так и сказал один из придворных Зубову.

Радость внезапного освобождения от четырехлетнего гнета и неуверенности в завтрашнем дне охватила город. Очевидцы события уж заносили в свои дневники, что «на улице даже незнакомые обнимались, как в Христов день, и поздравляли друг друга с новой, свободной жизнью».

Отмечали суеверно, что сама природа дала благословение новому государю. «До двенадцатого марта было пасмурно, непрерывно дождило, а с воцарением Александра вдруг ранняя развернулась весна, и солнышко, редкий гость петербургского серого неба, засияло, как на юге».

Хотя на то не отдавалось приказа, сами жители в честь Александра иллюминировали свой город. И тоже немедленно без снятия запрета, наложенного Павлом, украсились головы круглыми шляпами, и появились на свет прочие принадлежности модного туалета, недавно еще аттестованные «якобинской отравой».

По городу во все стороны понеслись запрещенные Павлом упряжки с форейторами, с кучерами в русской одежде, с неистовым криком: па-а-ди!

Люди спешили увериться, что опять могут жить, опять наконец веселиться, как того просит душа.

Поэт Державин, выражая общее ликование, написал оду: «На всерадостное восшествие на престол императора Александра Первого, случившееся двенадцатого марта, когда солнце в знак Овна, на путь весны, вступило и началось новое столетие 1801 года».

Эта ода заключала в себе очень прозрачные намеки на только что приключившееся событие в Михайловском замке, хотя Державин утверждал, что сие не что иное, как риторическая фигура, знаменующая наступление весны:

Умолк рев Норда сиповатый,  
Закрылся грозный, страшный зрак...

Генерал-прокурор запретил печатать оду, отлично поняв, как и все, к кому именно относилась риторическая фигура, чей закрылся «грозный зрак» и чей вдруг умолк столь памятный, перед вспышкой опасного гнева словно осипший голос.

Потрясенный смертью Павла и своим участием в создании ему маски отдаленного сходства, Карл проводил бессонные ночи. К его встревоженным чувствам присоединилась и личная мучительная борьба с самим собою: он то посещал ежедневно Тугариных, то пропадавал на целые недели.

Ночи заметно посветлели, и под утро небо делалось такое нежно-зеленое, уносящее вдаль, что усидеть дома было трудно.

Нева вскрылась рано. Льдинки то двигались плавно, чуть касаясь друг друга, то вдруг могучей волной вздымался задний их ряд и набегал на передний; недолго так держались, взгромоздившись горой, и внезапно, как войско в атаку, льдины с грозным шуршанием соскальзывали в воду, на миг раздвигая черную полынь. Уже запахло весной, и в сыром воздухе стали мягкими все очертания.

<...>

Как ни тихо шли заговорщики, они, говорят, спугнули этих бесчисленных ворон, что спокойно сидят сейчас в своих гнездах. В ту же ночь, как нарочно, всполошилось все это черное пернатое царство, и такое поднялось карканье и хлопанье крыльями, что даже Пален мгновенно подумал, не сорвалось ли все его дело и, как, по преданью, в последнюю минуту опасности заготовившие гуси спасли Рим, эти зловещие птицы своим карканьем не подымут ли сейчас государя. И что же тогда? — Арест, Сибирь или казнь?

Но вот вороны внезапно умолкли. Их карканье не спугнуло сон императора. В своем охраняемом замке, при поднятых мостах, проверенных караулах, он не боялся измены, расквартировав последний подозрительный эскадрон Саблукова в далекой деревне. Между тем самый доверенный его человек, плац-адъютант Аргамаков, уже давал самолично приказ опустить малый подъемный мост, чтобы впустить заговорщиков.

<...>

Состояние Александра было ужасно. Его подавленность, глубокую грусть и раскаяние граф Пален почитал только робкой слабохарактерностью и все назойливее обращался с ним как с мальчишкой, которого он только что посадил на трон и должен научить царствовать.

Александр свободные от парадов часы проводил в уединенной скорби. Удрученный безжалостной памятью, он снова и снова переживал страшную ночь. Ежедневно узнавал он всё новые имена исполнителей, новые подробности смерти отца.

Однако не только казнить убийц Павла, как того требовала мать-императрица, но даже предать их суду Александр не находил в себе смелости.

Начни суд — что получится? Одни имена потянут за собой другие, и, как средство защиты, всеми будет помянуто о согласии, которое было вырвано у него, наследника, на предъявление акта отречения императору. Заговорщики сейчас давали слишком беззастенчиво понять, что они необходимы для безопасности молодого государя. Зубовы даже нарочно постарались, чтобы слова, которые они почитали дружеским ему советом, доведены были до него: «Из чувства благодарности и благоразумия Александру следует окружить себя теми людьми, которые возвели его преждевременно на престол, как это сделала его бабка Екатерина».

Сегодня Александру было особенно тяжело видеть Палена. Он пришел с резкой жалобой на мать-императрицу: по ее заказу выполнен образ и поставлен в одной из новых церквей, — для возбуждения против лиц, только что оказавших ей немалую услугу...

— Ваше величество, — сказал многозначительно Пален, — на упомянутом образе славянской вязью, на ленте, исходящей из уст святителей, начертан приказ не оставлять безнаказанными цареубийц. Пусть сие относится к эпизоду ветхозаветному, но прилив в эту церковь народа и вызванные образом толки получились весьма современного характера...

— Доставьте образ ко мне, я расследую, — сказал утомленный Александр и, вдруг вспыхнув, горько добавил: — Сдержали б вы ваше слово о неприкосновенности августейшей жизни, ничего б этого быть не могло.

Пален пристально посмотрел на царя. В глубине глаз дрожала насмешка, прикрытая внимательным дружелюбием, но смущения не было.

— Да неужто ваше величество могло допустить даже мысль, что покойный император, столь ревниво убежденный в святости самодержавия, мог от него без борьбы отказаться? В борьбе же, на каковую ваше величество разумно изволили дать свое разрешение, конец не мог никем быть предвиден.

— Но ваше слово?

— Мной оно сдержано, — качнулся с достоинством Пален. — Я неприкосновенен к злему делу обезумевших офицеров. Я находился в покоях императрицы: быть может, надлежало ее уберечь от ареста. Как вам известно, предписание уже было.

Александр в отчаянии махнул рукой, указав на выход.

Пален, пожав плечами, пошел к двери, остановился, сказал вдруг совсем веселым, жизнерадостным голосом:

— Приятнейшее обстоятельство, ваше величество, прошу прощенья, чуть не забыл. Вам сейчас предстоит завершить одно доброе дело, задуманное его величеством покойным императором. Поистине, благодеяние целому семейству одним мановением вашей царской руки...

— Какое еще дело? — испуганно повернулся Александр, опасаясь, что разговор пойдет о той беременной женщине, которая объявила, что взыскана Павлом, и просила о пенсии. — Я этих женских дел знать не хочу. Решайте сами.

— Помилуйте, ваше величество, дело самое мужское: некий государственный крестьянин, сибиряк Артамонов, изобрел самокат. Модель в свое время, если припомните, представлена была его величеству, вашему родителю, и Артамонову была обещана в случае успешного выполнения модели вольная со всем семейством.

— Как же, вспоминаю, — несколько оживился Александр, — такое большое железное колесо и сиденье, как седлышко, наверху... Мы тогда посмеялись немало с братом. И что же, он выполнил?

— Извольте потрудиться, ваше величество, глянуть из окна на площадь: Артамонову приказано ждать тут с самого утра, пока не соблаговолите проверить его машину.

— Зачем же утром еще не сказали? — воскликнул Александр. — Я очень охотно взгляну, ведь мне особенно приятно, когда могу выполнить волю батюшки.

Александр быстрым шагом, так что Пален едва за ним поспевал, вышел на балкон Зимнего дворца и с любопытством оглядел площадь.

Перед балконом возник Артамонов, низко кланяясь, ведя рядом с собой, как лошадь, большое колесо. Он был в своем синем армяке и в новых, до зеркального блеска начищенных сапогах. Он вдруг мгновенно вскочил на седло и, хлопая полами длинного армяка, много раз странной птицей пронесся большими кругами по площади, ловко спрыгнул на ходу пред балконом, где, глядя на него, улыбался восхищенный Александр,

Артамонов лихо соскочил на ходу, сорвал с головы шапку, упал на колени пред балконом и протянул к Александру обе руки.

— Самокатчик низжайше благодарит ваше величество, — сказал Пален, — за дарованную по обещанию императора Павла вольную.

— В свою очередь благодарю самокатчика за то, что выполнил обещание, данное отцу.

У Александра выступили слезы на глазах.

— Кроме вольной всему семейству, как сказано батюшкой, — приказал он Палену, — распорядитесь из сумм кабинета выдать награду и на путевые расходы. Самокат приобщить к изобретениям самоучки Кулибина, собранным бабушкой.

<...>

Вечером явилась к Александру мать-императрица. Еще красивая, хотя сильно располневшая, в глубоком трауре, она даже не захотела у сына присесть. Величественно стоя, изрекла свой ультиматум:

— Или я, сейчас уехав в Павловск, никогда больше сюда не приеду, или же пусть граф Пален навсегда удалится отсюда. Мне известно, что он приказал снять подаренный мной образ и произнес слова: «Я расправился с супругом, расправлюсь и с супругою».

Мария Федоровна удалилась, предоставив Александра охватившему его с новой силой отчаянию.

Опять почувствовал, что тюремной стеной окружил его этот грузный, тяжелый человек, неизменно к чему-то принуждающий. А за ним стоит и другой, Никита Петрович Панин, с изощренно-дипломатической речью, с холодным педантизмом на английский манер. Оба свергли отца, оба хотят теперь править сыном.

От ненависти к поработителям своей воли Александр вскочил и стал быстро ходить по кабинету.

Пусть лучше навек Шлиссельбург, пусть даже казнь — все лучше несказанной муки, охватившей сейчас. Панин первый заронил в сознание эту мысль, которая никогда б не родилась сама, — пойти против отца и помазанника. Но Палена он ненавидел еще сильнее. Пален уверен, что он не только знал, он отцеубийства хотел. Освободиться б от Палена!

Доложили нового генерал-прокурора Беклешева.

Сменивший бывшего гатчинца, Павлова любимца Обольянинова, этот русский простой человек был приятен Александру. Беклешев далек был от придворных интриг, прославлен своей справедливостью и был в отсутствии во время заговора.

И вдруг Александр рассказал Беклешеву, как младший внушившему доверие старшему, про непосильную тяжесть отношений с ненавистным Паленом, про непреклонное требование императрицы-матери его удалить.

Беклешев сочувственно поморгал своими умными глазами на молодого царя и сказал простодушно, как бы разрешая совсем маловажное затруднение:

— Когда мне досаждают мухи, ежели жужжат под носом, — я их прогоняю.

И как следствие этого разговора предложил тотчас представить для подписания соответствующую бумагу.

— Заготовьте и представьте, — легко вымолвил Александр, успокоенный простым и быстрым решением столь мучительного дела.

Назавтра только и речи было о том, как граф Пален явился на парад в своем экипаже, запряженном шестеркою цугом. Едва собрался он выходить, как подошедший флигель-адъютант государя протянул бумагу, где по высочайшему повелению предлагалось ему выехать навсегда в свои курляндские поместья.

<...>

